

А. Г. Алексин



Все
лучшие повести
для детей
о весёлых
каникулах



Вся детская классика

Анатолий Алексин

**Все лучшие повести для детей
о весёлых каникулах (сборник)**

«АСТ»

2016

УДК 821.161.1-31-053.2
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Алексин А. Г.

Все лучшие повести для детей о весёлых каникулах
(сборник) / А. Г. Алексин — «АСТ», 2016 — (Вся детская
классика)

ISBN 978-5-17-084889-8

Анатолий Георгиевич Алексин – русский писатель (прозаик, драматург, сценарист). Родился 3 августа 1924 года в Москве. Лауреат международных премий, Государственных премий СССР и России. Член Союза писателей Москвы, Международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля. Почетный член Союза писателей Америки и Канады. Произведения А. Алексина, вошедшие в эту книгу, включены в школьную программу по литературе. И это неслучайно: в них поднимаются важные вопросы, ответы на которые ищут все подростки. Герои повестей и рассказов А. Алексина – мальчишки и девчонки, сталкивающиеся с миром взрослых и ищущие решения возникающих при этом конфликтов и проблем. Для среднего школьного возраста.

УДК 821.161.1-31-053.2
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-17-084889-8

© Алексин А. Г., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Саша и Шура	6
«Не забудь про самое главное!»	6
Как я летом двойку получил	9
Я становлюсь Шурой	13
У реки белогорки	17
«Я приехал! Приехал!»	21
Но в то же время...	24
Пираты	27
Чистые промокашки	30
Похищение	33
Я становлюсь поэтом	35
Сашина тайна	37
Я становлюсь учителем	39
«Неистребимый»	44
Однажды ночью...	47
Неожиданный экзамен	51
Два письма	55
Всё началось с велосипеда	56
От автора	56
«Приезжай немедленно»	57
Я рыдаю	59
Всё началось с велосипеда	63
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Анатолий Георгиевич Алексин

Все лучшие повести для детей о весёлых каникулах

© Алексин А.Г., 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Саша и Шура

«Не забудь про самое главное!»

Всю свою сознательную жизнь я мечтал ездить и путешествовать.

Помню, например, когда я был ещё совсем маленьким, я каждый день ездил с бабушкой на трамвае в детский сад. Тогда я мечтал стать вагоновожатым. Дома я вытаскивал на середину комнаты старый деревянный чемодан и ставил его «на попа». Это был электромотор. Сам я усаживался на табуретке перед чемоданом и три часа подряд вертел ручку от мясорубки. На «поворотках» я постукивал чайной ложечкой по дну старой, закопчённой алюминиевой кастрюльки – давал звонки. «Лезут под самые колёса! Жизнь, что ли, надоела?» – бормотал я себе под нос. Я слышал, что так именно ругаются вагоновожатые.

За моей спиной были расставлены стулья. На самом последнем стуле всегда сидела бабушка с кожаной авоськой на груди (я приспособил к сумке верёвочные тесемки). Бабушка была одновременно и кондуктором, и контролёром.

Но только иногда бабушка засыпала, уронив голову на авоську, – наверное, уставала от длинного пути. И тогда я вместо неё шёпотом объявлял остановки и шёпотом кричал на пассажиров: «Ну, что остановились? Проходите вперёд, там люди на подножке висят!» Но на самом деле в моём вагоне был только один заправдашний пассажир – чёрный кот по имени Паразит. Это бабушка его так назвала за то, что он однажды съел целую миску куриных котлет. Больше кот никогда ничего не таскал, а имя за ним так и осталось. Только называли мы его не как-нибудь грубо, а, наоборот, очень даже ласково: Паразитиком или даже Паразитушкой.

Наш чёрный кот не был знаком с правилами уличного движения – он то и дело выпрыгивал из вагона на полном ходу. Я резко тормозил, бабушка штрафовала Паразита. Но это на него нисколько не действовало, и он снова выпрыгивал на ходу, не понимая, что рискует жизнью.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды, в воскресенье, мы с мамой не поехали в Химки. Там я первый раз увидел большие, какие-то очень важные и неторопливые парходы – и сразу захотел стать капитаном дальнего плавания.

Стулья расставлялись по-прежнему, но сам я залезал в перевернутую вверх ножками табуретку, которую ставил на обеденный стол. Это был капитанский мостик. Паразит даже в самые сильные штормы смело выпрыгивал за борт. А я с мостика бросал ему надутую велосипедную шину – это был спасательный круг.

Но больше всего я мечтал поехать куда-нибудь далеко-далеко, без мамы, без папы и вообще без взрослых. Чтобы никто не говорил мне, что пить воду из бачка опасно (а вдруг недокипела!), стоять у открытого окна рискованно (вдруг искра от паровоза в глаз попадёт!), а переходить на ходу из вагона в вагон просто-таки смертельно. И чтобы я мог, как Паразит, бегать и выпрыгивать, куда и как захочу.

Прошло много лет... И вот наконец моя мечта сбылась! Я поехал один, да ещё на поезде, да ещё на всё лето, и не куда-нибудь на дачу, а далеко – в другой город, к мамину папе, то есть к моему дедушке.

Правда, мама попыталась с самого начала всё испортить. Она как вошла в вагон, так сразу тяжело вздохнула, словно у неё горе какое-нибудь случилось:

– Вот приходится сына одного отправлять. Может, возьмёте над ним шефство, товарищи?

У окна, спиной к двери, стоял военный. Он был невысокого роста, но такой широкоплечий, что загораживал всё окно, и мы сперва даже не могли увидеть бабушку, которая стояла на перроне и тихонько помахивала нам одной только ладошкой.

Услышав мамины слова, военный обернулся, и я увидел, что это подполковник-артиллерист. Подполковник оглядел меня так внимательно, что мне сразу захотелось поправить пояс и пригладить волосы.

– А что ж над ним шефствовать? – удивился он. – Взрослый, вполне самостоятельный парень!

«Какой замечательный человек! – подумал я. – Настоящий боевой офицер! Вот, наверное, сейчас скажет: „Да я в его годы...“» Но подполковник ничего про себя «в мои годы» не вспомнил, а снова отвернулся к окну.

И тут же я понял, что не одни только хорошие и сознательные люди на свете живут.

На нижней полке полулежала толстая-претолстая, или, как говорят, полная женщина с бледным, очень жалостливым лицом. Но я уж заметил: бывают такие жалостливые люди, на которых только взглянешь – и сразу не захочется, чтобы они тебя жалели или делали тебе что-нибудь доброе. Женщина лежала с таким видом, как будто весь вагон был её собственной квартирой и она уже очень-очень давно жила в этой квартире. А вокруг было полно всякой еды, завернутой в бумагу и засунутой в баночки, как бывает у нас на кухне перед Новым годом.

В уголке сидел мальчик с таким же точно бледным и жалостливым лицом, только очень худенький. На голове у него была бескозырка с надписью «Витязь». А ноги его были накрыты пледом, на котором в страшных позах застыли огромные жёлтые львы.

Полная женщина – её звали Ангелиной Семёновной – приподнялась и схватила маму за руку:

– Ах, мужчины этого не понимают! Конечно, я присмотрю за ребёнком! (Так прямо и сказала – «за ребёнком»!) Я его познакомлю со своим Веником.

Я подумал: «Бывают же такие имена: „Веник“!.. Ещё бы метёлкой назвали!» – и засмеялся.

– Вот видите, как он доволен! – воскликнула Ангелина Семёновна. – Меня все дети любят, просто обожают!

Подполковник отвернулся от окна и удивлённо взглянул на меня, точно хотел спросить: «Неужели вы и в самом деле так уж её любите?» За всех детей я отвечать не мог, но мне лично Ангелина Семёновна не очень понравилась. И вообще я не понимал, как можно про самого себя сказать: «Меня все обожают».

Оказалось, что Ангелина Семёновна и Веник тоже ехали в Белогорск, но каким-то «диким способом». Что это значит, я тогда не понял. Мне сразу вспомнилась школа, потому что математик Герасим Кузьмич часто нам говорил: «Задача простая, а вы решаете её каким-то диким способом».

– Мы – дикари! – сказала Ангелина Семёновна. – А это, – она нежно наклонилась к Венику, – мой маленький дикарёныш. Хочу залить его сметаной и молоком.

Мне представилось, как бледный «витязь» по имени Веник барахтается в сметане и молоке и пускает белые жирные пузыри. Я снова засмеялся.

– Вы оставляете своего сына в прекрасном настроении, – заявила Ангелина Семёновна. – Он среди родных людей!

Но мама перед уходом всё-таки обратилась к подполковнику:

– Вы уж тоже присмотрите, пожалуйста, за моим Сашей. Ладно?

Подполковник кивнул – и она перестала сутулиться, словно у неё гора с плеч упала.

Потом мама пожелала всем счастливого пути, поцеловала меня и пошла на перрон, к бабушке.

На перроне она сложила ладони рупором и крикнула:

– Не забудь про самое главное! Не забудь!..

И, разрушив свой рупор, погрозила мне пальцем. Подполковник, тоже глядевший в окно, конечно, ничего не понял.

А я всё понял – и у меня сразу испортилось настроение.

Как я летом двойку получил

Лишь только тронулся поезд, Ангелина Семёновна сейчас же начала «шефствовать» надо мной.

Прежде всего она попросила, чтобы я уступил её Венику свою нижнюю полку.

– Он у меня очень болезненный мальчик, ему наверх карабкаться трудно, – сказала Ангелина Семёновна.

– Альпинизмом надо заниматься, – усмехнулся подполковник, которого звали Андреем Никитичем.

– Веник обойдётся без посторонних советов. У него есть мама! – отрезала Ангелина Семёновна. Она вообще косо поглядывала на Андрея Никитича.

А я, конечно, с удовольствием уступил нижнюю полку, потому что ехать наверху куда интересней: и на руках можно подтягиваться, и в окно смотреть удобней.

Но это было только начало.

Ангелина Семёновна очень точно знала, на какой станции что должны продавать: где – яички, где – жареных гусей, а где – варенец и сметану. На первой же большой остановке она попросила меня сбегать на рынок, который был тут же, возле перрона.

«И так уж продуктовый магазин в вагоне устроила! – подумал я. – Куда же ещё?..» Мне очень хотелось побегать вдоль вагонов, добраться до паровоза, посмотреть станцию, но пришлось идти на рынок. Сама Ангелина Семёновна командовала мной сквозь узкую щель в окне: «Вон там продают куру! (Она почему-то называла курицу курой.) Спроси, почём кура... Ах, очень дорого!.. А вон там огурцы! Спроси, почём... Нет, это невозможно!» В результате я так ничего и не купил. Но Ангелина Семёновна объяснила мне, что для неё, оказывается, самое интересное – не покупать, а прицениваться.

То же самое было и на второй большой остановке. А на третьей я не стал спрыгивать вниз, нарочно повернулся носом к стенке и тихонько захрапел. Но Ангелина Семёновна тут же растолкала меня. Она сказала, что спать днём очень вредно, потому что я не буду спать ночью, а это отразится на моём здоровье, за которое она отвечает перед мамой, – и поэтому я должен сейчас же бежать на станцию за варенцом.

– Вы просто эксплуатируете детский труд, – не то в шутку, не то всерьёз заметил Андрей Никитич. – Послали бы своего Веника. Ему полезно погулять на ветерке – вон какой бледный!

Ангелина Семёновна очень разозлилась.

– Да, Веник – болезненный мальчик! – сказала она так, будто гордилась его болезнями. – Но зато он отличник, зато прочитал всю мировую литературу! Он даже меня иногда ставит в тупик.

– А за что это «зато» он отличник? – спросил Андрей Никитич своим спокойным и чуть-чуть насмешливым голосом. – Можно подумать, что одни только хлюпики похвальные грамоты получают. Вот Саша, наверное, тоже хорошо учится.

При этих словах у меня как-то неприятно засосало в том самом месте, которое называют «под ложечкой».

– И у меня племянник тоже отличник, – продолжал Андрей Никитич, – а такие гири поднимает, что мне никогда не поднять.

– Ну, Веник циркачом быть не собирается! – заявила Ангелина Семёновна. И сама поплелась на станцию.

С тех пор она больше не разговаривала с Андреем Никитичем. Да и со мной тоже. Ко мне она обращалась только в самых необходимых случаях. Например, говорила: «Мне нужно переодеться». И мы с Андреем Никитичем оба выходили в коридор.

Он тоже, как и Ангелина Семёновна, хорошо изучил наш путь и знал, казалось, каждую станцию. Но только совсем по-другому.

– Видишь кирпичную коробку? – спрашивал он. – Это консервный завод. Сомы в томате любишь? Так вот здесь, на той вон речке, что за станцией, этого ленивого сома в сети заготавливают, а потом уж в томат и в банку!.. А вон там, за поворотом, большущий совхоз. Животноводческий!.. Когда в самолёте летишь, кажется, что облака с неба вниз спустились и ползают по земле. А на самом деле это белые овцы. Стадо овец!

Андрей Никитич ехал в гости к брату.

– Врачи советуют лечиться, в санаторий ехать, – сказал он. – А я на охоту да на рыбалку больше надеюсь. Вот и еду...

Я как услышал, что Андрею Никитичу надо лечиться, так ушам своим не поверил. Зачем, думаю, такому силачу лечиться? Ведь он в два счёта справился с окном, которое, как говорили проводники, «заело» и которое они никак не могли открыть.

Он заметил моё удивление и сказал:

– Да, облицовка-то вроде новая, не обносилась ещё, а мотор капитального ремонта требует.

– Какой мотор? – удивился я. Андрей Никитич похлопал себя по боковому карману – и я понял, что у него больное сердце.

– Если не вылечусь, перечеркнут мои боевые погоны серебряной лычкой – и в отставку. А не хочется мне, Сашенька, в отставку, очень не хочется...

Андрей Никитич заходил по коридору. Шаги у него вдруг стали медленные и тяжёлые-тяжёлые, как будто он на протезах ходил.

Потом он остановился возле окна, погрузил все десять пальцев в свои густые волнистые волосы и стал изо всей силы ерошить их, словно грустные мысли отгонял.

– А ведь я на следующей станции за Белогорском вылезая, – сказал Андрей Никитич. – Выходит, соседями будем.

Я очень обрадовался:

– Приходите к нам в гости! А? Вам ведь, наверное, гулять полезно? И дедушка как раз доктор...

Я достал нарисованный мамой план городка. Там была и дорога, которая вела от станции к дедушкиному домику. Это мама для меня нарисовала, чтобы я не заблудился. Андрей Никитич долго разглядывал план и чего-то ухмылялся про себя.

– Ладно, – говорит, – как-нибудь нагряну.

Вечером Андрей Никитич достал из бокового кармана кителя маленькие, как будто игрушечные, походные шахматы, и мы стали сражаться. Я не выиграл ни одной партии. Но Андрей Никитич не предлагал мне фору, не давал ходов назад и долго обдумывал каждый ход. Мне это очень нравилось, и я сдавался с таким радостным видом, что Венику издали, наверное, казалось, будто я всё время одерживаю самые блистательные победы.

Венику тоже захотелось сыграть в шахматы. Но я заметил, как Ангелина Семёновна наступила ему на ногу, он испуганно заморгал глазами и уткнулся в книгу.

А ночью я вдруг проснулся оттого, что вспыхнул верхний, синий свет. Я приоткрыл глаза и увидел, что Андрей Никитич ищет что-то в боковом кармане кителя, который висел у него над головой на гнутой алюминиевой вешалке.

Наконец он вытащил из кармана кусочек сахара. От синей лампы и белоснежный сахар, и серебристая вешалка, и зелёный китель, и лицо Андрея Никитича – всё казалось синим.

«Проголодался он, что ли? – удивился я. – Вот странно: взрослый, а сладкое любит. В боевом кителе сахар таскает!» Но тут я увидел, что Андрей Никитич достал из-под подушки маленький пузырёк, стал капать из него на сахар и шевелить губами – отсчитывать капли. Потом он спрятал пузырёк обратно под подушку, а сахар положил в рот – и вдруг тяжело

задышал. Я вспомнил, что так же вот принимала лекарства моя бабушка, когда у неё, как она говорила, «сосуды лопались».

Я свесился с полки и тут только разглядел, что лицо у Андрея Никитича было очень бледное (издали-то мне синяя лампа мешала разглядеть), а на лбу выступили крупные капли.

– Андрей Никитич, вам плохо? – тихонько прошептал я. – Может, нужно что-нибудь?

– Нет-нет... Ничего не нужно, – шёпотом ответил он и через силу улыбнулся. – Спи... Тебе ведь завтра вставать рано.

Я потушил синюю лампу, но долго ещё не решался уснуть: а вдруг Андрею Никитичу станет плохо и нужна будет срочная помощь? Чтобы не слипались глаза, я стал глядеть в окно.

А за окном медленно просыпалось утро. Понизу стелился белый туман, а поверху – такие же белые клубы от паровоза. Между этими дымками, как на длинном-предлинном экране, проносились поля, деревни, неровные, словно с отбитыми краями, голубые блюдца озёр...

Так незаметно я и заснул.

Разбудил меня Андрей Никитич. Вид у него был самый бравый, лицо было чисто выбрито и очень приятно пахло одеколоном и чем-то ещё. Мне показалось, что это запах свежей студёной воды. Это ведь только говорят, что вода не имеет запаха, а на самом деле имеет, и даже очень приятный.

Внизу в полной боевой готовности, окружённая своими бесчисленными чемоданами, узелками и сумками, восседала Ангелина Семёновна. А Веник читал книгу, тихо забившись в угол скамейки.

Он вообще всю дорогу читал. А говорил очень мало и всё какими-то мудрёными фразами. Например, вместо «хочу есть» он говорил «я проголодался», а вместо «хочу спать» – «меня что-то клонит ко сну».

Я быстро собрал свои вещички в маленький чемодан, который у нас дома называли «командировочным», потому что папа всегда ездил с ним в командировки. Мы с Андреем Никитичем вышли в коридор. И тут я, помню, тяжело вздохнул. И вагон наш, сбавляя скорость, тоже тяжело вздохнул, словно ему не хотелось отпускать меня.

Я вообще заметил, что в поезде как-то часто меняется настроение. Вот, например, в первые часы пути мне всё казалось очень интересным, просто необычным: и стук колёс где-то совсем близко, прямо под ногами; и настольная лампа, похожая на перевёрнутое ведёрко; и лес за окном, то подбегающий к самому поезду, то убегающий от него... Но уже очень скоро меня стало разбирать любопытство: а какой из себя этот самый Белогорск? А как я там жить буду? И уже хотелось, чтобы поскорее замолчали колёса и поскорее я добрался до дедушки. А вот сейчас мне стало грустно... Я успел привыкнуть ко всему в вагоне, особенно к Андрею Никитичу, и очень не хотел с ним расставаться.

* * *

Послушные паровозному гудку, тронулись и поплыли вагоны. Андрей Никитич стоял у окна и махал фуражкой. Он махал мне одному. Я это знал. Знала это и Ангелина Семёновна, поэтому она демонстративно повернулась к поезду спиной и стала рыться в своём синем мешочке, похожем на те мешки, в которых девчонки сдают галоши в раздевалку, только чуть поменьше. Ангелина Семёновна прятала этот мешочек под кофтой.

Сперва она вытащила какую-то большую бумажку, сделала испуганное лицо и спрятала деньги обратно. Потом вынула бумажку поменьше и снова испугалась. Наконец вытянула совсем маленькую и стала размахивать этой бумажкой с таким видом, будто клад в руке держала.

Скоро к ней подъехала телега. Возчик, небритый дяденька с папирской за ухом, оглядывался по сторонам так, словно украл что-нибудь. И лошаде́нка тоже испуганно косила своими большими лиловыми глазами.

– Только поскорше, гражданочка, – сказал возчик. – Поскорше, пожалста.

Казалось, он так торопится, что нарочно сокращает и коверкает слова. И ещё мне показалось, что все слова, которые он произносил, состояли из одной только буквы «о».

Ангелина Семёновна «поскорше» никак не могла. Она очень долго устраивалась в телеге. Сперва размещала вещи так, чтобы ничего не упало, не разбилось и не запачкалось. Потом долго усаживала Веника – так, чтобы его не очень растрясло и чтобы ноги в колесо не попали.

Усевшись сзади, она догадалась наконец спросить, к кому я приехал. А услышав, что я приехал к дедушке и что дедушка мой доктор, она снова соскочила на землю, за что возчик обозвал её «несознательной гражданочкой».

– У тебя здесь дедушка? – воскликнула Ангелина Семёновна. – Так это же чудесно! Садись к нам! Поедем вместе. Может быть, у него комната для нас найдётся, а?

И Веник будет под наблюдением – он ведь такой болезненный мальчик. Будем жить одной семьёй!

Я вовсе не собирался жить с Ангелиной Семёновной «одной семьёй» и поэтому сказал, что у дедушки всего одна и очень маленькая комнатка, хотя на самом деле понятия не имел, какая у него квартира. Ангелина Семёновна залезла обратно в телегу, возчик хлестнул свою лошаде́нку – заскрипели колёса, и ноги Ангелины Семёновны заколотились о деревянную грядку телеги.

Я огляделся по сторонам. За станцией и по обе стороны от нее была глубокая-глубокая, вся в солнечных окнах, берёзовая роща. Воздух был какой-то особенный – свежий, будто только что пролился на землю шумный и светлый летний дождь. Возле реки всегда бывает такой воздух. Но самой реки не было видно: она пряталась за рощей.

От всей этой красоты я так расчувствовался, что даже забыл придерживать пальцем крышку своего «командировочного» чемодана, как наказывала мне мама.

Чемодан раскрылся – и что-то глухо шлёпнулось на траву. Я нагнулся и увидел, что это книжка, а вернее сказать – учебник. Да, учебник русского языка, грамматика. Я вспомнил про то самое, «самое главное», о чём кричала с перрона мама, – воздух сразу перестал казаться мне каким-то особенным, да и берёзы выглядели не лучше подмосковных.

Я мрачно опустил чемодан на траву и положил учебник обратно. Потом достал нарисованный мамой план пути, развернул его. Развернул – и вдруг почувствовал, что лицу моему нестерпимо жарко, хоть утренние лучи ещё только светили, но почти не грели. В левом углу листа моей рукой большими печатными буквами было выведено: «МОРШРУТ ПУТИ. КАК ИДТИ К ДЕДУШКИ». Чей-то решительный красный карандаш перечеркнул букву «о» в слове «моршрут», букву «и» в слове «дедушки» и написал сверху жирные «а» и «е». А чуть пониже стояла красная двойка, с какой-то очень ехидной закорючкой на конце.

Кто это сделал? Я сразу понял кто. И мне стало ещё жарче. Но почему же он так приветливо махал мне из окна фуражкой? Почему? Догнать поезд я уже не мог. Да и не догнать нужно было поезд, а бежать от него в другую сторону, чтобы не встретиться с Андреем Никитичем.

Я становлюсь Шурой

Писатель Тургенев говорил, что русский язык «великий и могучий». Это он, конечно, правильно говорил. Но только почему же он не добавил, что русский язык ещё и очень трудный? Забыл, наверное, как в школе с диктантами мучился.

Так рассуждал я, огибая берёзовую рощу.

Но, может быть, думал я, во времена Тургенева учителя не так уж придирались и не снижали отметки за грязь и за всякие там безударные гласные? А я вот из-за этих самых безударных сколько разных ударов получал: и в школе, и дома, и на совете отряда!

А вообще-то, рассуждал я, какая разница – писать ли «моршрут» или «маршрут», «велосипед» или «виласипед»? От этого ведь велосипед мотоциклом не становится. Важно только, чтобы всё было понятно. А какая там буква в середине стоит – «а» или «о», – это, по-моему, совершенно безразлично. И зачем только люди сами себе жизнь портят? Когда-нибудь они, конечно, додумаются и отменят сразу все грамматические правила. Но, так как пока ещё люди до этого не додумались, а додумался только я один, мне нужно готовиться и сдавать переэкзаменовку.

Рассуждая таким образом, я обогнул рощу и сразу увидел Белогорск. Городок взбежал на высокий зелёный холм. Но не все домики добежали до вершины холма. Некоторые, казалось, остановились на полпути, на склоне, чтобы немного передохнуть. «Так вот почему городок называется Белогорском! – подумал я. – Он взобрался на гору, а все домики сложены из белого камня – вот и получается Белогорск».

Я тоже стал медленно взбираться на холм.

Чтобы не терять времени даром, я начал обдумывать план своих будущих занятий. Мне нужно было каждый день заучивать правила, делать упражнения и писать диктанты. «Диктовать будет дедушка», – решил я.

Прикинув в уме, сколько в учебнике разных правил и упражнений, я решил, что буду заниматься по три часа в день. Спать буду по семь часов – значит, четырнадцать часов у меня останется для купания и всяких игр с товарищами (если я с кем-нибудь подружусь). Ну, и для чтения, конечно. Между прочим, наша учительница говорила, что если много читать, то обязательно будешь грамотным. Но я не очень-то верил этому, потому что читал я много (за день мог толстенную книгу проглотить), а диктанты писал так, что в них, кажется, красного учительского карандаша было больше, чем моих чернил.

Когда я однажды высказал всё это нашей учительнице, она сказала: «Если пищу сразу проглатывают, она вообще никакой пользы не приносит. Её надо не спеша разжёвывать». Мне было непонятно, что общего между пищей и книгами. Тогда учительница сказала, что книги – это тоже пища, только духовная. Но я всё-таки не понимал, как можно разжёвывать «духовную пищу», то есть книги, не спеша, если мне не терпится узнать, что будет дальше и чем всё кончится. А если книга неинтересная, так я её вообще «жевать» не стану.

В общем, книги мне пока не помогали справляться с безударными гласными.

По маминому чертежу я быстро отыскал дедушкин домик. Вернее сказать, это был не дедушкин дом, а дом, в котором жил дедушка, потому что, кроме него, там жила ещё одна семья. Обо всей этой семье я ещё подробно ничего не знал, а знал только об одной Клавдии Архиповне, которую мама называла «тётей Кланей», потому что она нянчила маму в детстве, как меня бабушка. В Москве мама предупредила меня, что дедушка не может прийти на станцию: он очень рано уходит в больницу, ни за что утренний обход не пропустит! А ключи он оставит у тёти Клани.

В домик вели два крыльца. Одно было пустое и заброшенное какое-то, а на ступеньках другого лежал полосатый коврик и стояли большие глиняные горшки с цветами и фикусами.

Их, наверное, вынесли из комнаты для утренней поливки. Конечно, здесь именно и жила тётя Кланыя.

Я направился к крыльцу, но тут, будто навстречу мне, распахнулась дверь, и на крыльцо вышел мальчишка лет двенадцати, в трусах, с полотенцем.

Мальчишка, прищутив глаза, поглядел на солнце, с удовольствием потянулся, – и я с грустью подумал, что, пожалуй, не решусь при нём снять майку: уж очень у него было загорелое и мускулистое тело.

Ловко перепрыгнув через цветочные горшки, мальчишка подбежал к рукомойнику.

Рукомойник висел на ржавом железном обруче, которым была подпоясана молодая берёзка, то и дело подметавшая своей листвой край черепичной крыши.

Сперва мне показалось, что мальчишка вообще не заметил меня. Он преспокойно разложил на полочке мыло, щётку, зубной порошок. И вдруг, не глядя на меня, спросил:

– Приехал?

– Приехал... – растерянно ответил я.

Мальчишка старательно намылился, повернул ко мне своё лицо, всё в белой пене, и так, не раскрывая зажмуренных глаз, задал второй вопрос:

– Тебя как зовут?

– Сашей.

Мальчишка постукал ладонью по металлическому стержню умывальника; пригнувшись, попрыгал под несобранной, веерообразной струей, пофыркал и потом сказал, точно приказ отдал:

– Придётся тебе два месяца побыть Шурой!

– Как это – придётся?.. Почему?

Мальчишка стал тереть зубы с такой силой, что я просто удивлялся, как они целы остались и как щётка не сломалась. Не очень-то внятно, потому что рот его был полон белого порошка, мальчишка сказал:

– Меня тоже Сашей зовут. Так уж придётся тебе побыть Шурой. Чтобы не путали. Понял?

Понять-то я понял, но мне это не очень понравилось.

– Я всё-таки тоже хотел бы остаться Сашей, – тихо проговорил я.

Мальчишка от неожиданности даже проглотил воду, которой полоскал рот.

– Мало что хотел бы! У себя в Москве будешь распоряжаться! Понял?

Заметив, что я растерялся, он взглянул на меня чуть-чуть поласковой:

– Ладно. Иди, Шурка, за мной. Ключи дам.

– Иду, – ответил я и таким образом принял своё новое имя.

– Только горшки не разбей, – предупредил меня Саша. – А то бабушка за них нащёлкает! – Он звучно щёлкнул себя по загорелому лбу и добавил: – А мне за тебя от бабушки всё равно попадёт.

– Как это – за меня?

– Очень просто. Она мне встречать тебя приказала. А я не пошёл. Что ты, иностранная делегация, что ли? Если бы ещё от станции далеко было или дорога запутанная! А то так, ради церемонии... Здравствуй, мол, Шурочка! Ждали тебя с нетерпением, спасибо, что пожаловал! Не люблю я этого!

Саша взглянул исподлобья так сердито, словно я был виноват, что он не выполнил приказа бабушки и что ему за это попадёт.

– Давай скажем, что ты встречал! – предложил я, желая выручить Сашу. – Ведь бабушка не узнает.

Но он посмотрел на меня ещё злее:

– Не люблю я этого!

«То не любишь, это не любишь! – с досадой подумал я. – А что, интересно, ты любишь?»

Квартирка состояла из двух маленьких комнат и кухоньки. Одна комната была такая солнечная, что в ней, не зажмурившись, стоять было невозможно. А другая – совсем тёмная: в ней не было ни одного окна.

– Отец с матерью давно окно прорубить хотели, а я не разрешаю, – сказал Саша.

– Почему не разрешаешь? – удивился я.

– А там плёнки проявлять здорово. Понял? Полная темнота!

– Понял. И они тебя послушались? Папа с мамой?..

– А как же! Только бабушка сперва не соглашалась. Но я ей такую карточку сделал, что она потом каждый день стала фотографироваться.

Саша кивнул на фотографию, висевшую над кроватью. С карточки придиричивыми Сашиними глазами глядела на меня исподлобья Сашина бабушка. Не только глаза, но и всё лицо её было строгое и очень властное. А лоб был высокий и весь в морщинках, которые соединялись и пересекались одна с другой. Саша, видно, очень хорошо фотографировал, если морщинки так ясно получились.

Я, между прочим, совсем не такой представлял себе тётю Кланю, которая, по словам мамы, вынянчила её. Я ожидал увидеть добрую и очень разговорчивую старушку. А у тёти Клани губы были так плотно сжаты, словно наглухо прибиты одна к другой.

– Слушай, Шурка, зачем сейчас к дедушке перетаскиваться? – Саша через окно кивнул на пустое, заброшенное крылечко. – У него ещё и дверь туго открывается. Пока будем возиться, бабушка с рынка вернётся и захватит нас. Давай прямо на реку махнём. А чемоданчик твой пока под кровать задвинем.

В это время послышался топот босых пяток по деревянным ступеням.

– Вот и Липучка явилась, – сказал Саша.

– Кто, кто?

– Липучка. Моя двоюродная сестра. Через три дома отсюда живёт. Её вообще-то Липой зовут. Полное имя Олимпиада, значит. Не слыхал, что ли? Это её в честь матери назвали. А я в «Липучку» перекрестил, потому что она как прилипнет, так уж ни за что не отвяжется.

«Везёт же! – подумал я про себя. – То Веник, то Олимпиада...»

Липучка между тем беседовала с цветами. «Ой, какие же вы красавцы! Ой, какие же вы пахучие!» – доносилось с крыльца.

Но вот Липучка появилась на пороге. Это была рыжая девочка с веснушками на щеках, с уже облупившимся, удивлённо вздёрнутым носиком. Да и выражение лица у неё было такое, будто она всё время чему-то удивлялась или же чем-то восторгалась.

– Ой! Внук дедушки Антона приехал! – вскрикнула Липучка, точно она с нетерпением ждала меня и наконец-то дождалась.

Тогда я ещё не знал, что Липучка вообще каждую свою фразу начинает со слова «Ой!». Я очень удивился, что Липучка назвала моего дедушку Антоном.

– Почему Антон? – спросил я.

– Ой, как же «почему»? Как же «почему»?

– Потому что он не Антон...

Я не заметил даже, что случайно сказал в рифму. Но Липучка заметила, и ей это очень понравилось. Она стала хохотать и сквозь смех приговаривала:

– Он – Антон! Он – Антон!..

Смех у неё был какой-то особенный: послушаешь – и самому смеяться захочется.

Я прошептал про себя мамино имя-отчество: её звали всё-таки не Мариной Антоновой, а Мариной Петровной. Значит, если говорить по-Липучкиному, дедушка мой был

«дедушкой Петром», а вовсе не «дедушкой Антоном». Я всё это высказал Липучке, а она вытаращила свои зелёные, как у нашего Паразита, глазищи и стала тыкать в меня пальцем:

– Ой, Сашка, посмотри на него! Не знает, как собственного дедушку зовут! А своё-то имя ты помнишь?

Саша, ухмыляясь, засовывал под кровать мой «командировочный» чемоданчик.

– Ну, накричалась? – насмешливо спросил он. – Теперь умного человека послушайте. Дедушку-то, ясное дело, Петром Алексеевичем зовут. Ты, Липучка, про это не знаешь, потому что только в прошлом году сюда приехала. А мы дедушку уж три года Антоном зовём: он у нас в школе однажды Антона Павловича Чехова изображал... Ну, в постановке одной. Мы «Каштанку» показывали. И ещё «Хамелеона». А дедушка, значит, от имени Антона Павловича вёл программу и на вопросы отвечал. С тех пор мы его и прозвали. Понятно?

– Понятно... – прошептала Липучка и так виновато взглянула на меня своими зелёными глазами, как наш Паразит после знаменитой истории с куриными котлетами.

– Айда на реку! – скомандовал Саша. Запирая дверь, он шепнул мне: – Вообще-то женщин во флот брать не полагается. Но уж приходится. А то ведь такой визг поднимут! Да и команды у нас не хватает.

– В какой флот? – не понял я.

– Там увидишь!..

У реки белогорки

Когда мы сбежали с холма на золотистый песчаный берег, Саша строго предупредил меня:

– Ты ей не верь. С виду она вон какая весёлая, сверкает на солнышке, а на самом деле – хитрая и коварная...

Я с удивлением посмотрел на Липучку: она и вправду очень весело глядела на всё вокруг, и рыжие волосы её в самом деле сверкали на солнышке. «Неужели она хитрая и коварная? – подумал я. – Скажи пожалуйста! А на вид такая приветливая. Хотя мама всегда говорит, что я плохо разбираюсь в людях».

Я глазел на Липучку с таким удивлением, что она спросила:

– Веснушки разглядываешь, да? Много, да? Очень?..

И стала тереть свои щёки, словно хотела уничтожить маленькие и очень симпатичные коричневые точки.

– Да нет, он просто не понял, – усмехнулся Саша. – Думает, что я про тебя сказал – коварная и хитрая. Ты, ясное дело, тоже хитрая. Но только я про Белогорку говорил. В ней ямы на каждом шагу и воронки студёные... Ты, Шурка, плаваешь хорошо?

Я неопределённо пожал плечами. Это меня один мой товарищ в школе так научил: если, говорит, не хочешь сказать ни да ни нет, то пожми плечами – все подумают, что хотел сказать «да», но только поскромничал. Липучка, и точно, приняла мой жест за утверждение.

– Ой! – обрадовалась она. – Значит, наперегонки плавать будем! До того берега и обратно. Идёт?

Я опять неопределённо пожал плечами, потому что умел плавать только по-собачьи, а всякие там брассы и кроли ещё не изучил: давно собирался, да всё откладывал из года в год.

Река называлась Белогоркой потому, что в ней отражались и зелёный холм, и белые домики. Липучка даже говорила, что она свой домик в воде различает.

Но Саша не верил и подшучивал над ней:

– А раскладушку свою случайно не разглядела? Или ты её днём за шкаф прятать будешь?

Белогорка была довольно широкой и на вид очень безобидной рекой; она петляла между зелёными холмами, точно, убегая от кого-то, хотела замести свои следы. Над берегом нависла песчаная глыба ржавого цвета, словно огромная собака тянула к реке свою лохматую морду. А под глыбой (чтобы дождь не замочил) были аккуратно сложены причудливые ветвистые коряги, балки, доски и брёвна разных цветов: белые – берёзовые, рыжие – сосновые, зеленовато-серые – осиновые. Тут же валялась старая калитка неопределённого цвета со сломанными перекладинами.

– Наш строительный материал! – гордо сообщил Саша. – Будем флот строить.

– Значит, у нас будет не флот, а плот? – уточнил я.

Липучка снова захохотала:

– Опять в рифму сказал! Опять в рифму!

И стала приговаривать: «Не флот, а плот!

Не плот, а флот!..»

Чуть поодаль стоял зелёный шалаш, сложенный из хвойных и берёзовых ветвей.

– А это склад инструмента и сторожевая будка, – объяснил Саша.

Он осторожно, на цыпочках, подошёл к шалашу, вытащил оттуда пилу, топор, молоток, баночку с гвоздями. Потом выволок из шалаша за передние лапы белого пушистого пса и стал всерьёз упрекать его:

– Целый день дрыхнешь, да? Эх, Берген, Берген! Да в военное время тебя расстреляли бы на месте. Сразу бы к стенке приставили: заснул на посту! Хорош сторож! Я все инструменты вытащил, а тебе – хоть бы хны!

Выслушав всё это, пёс сладко, с завываньем зевнул, фыркнул, стряхнул с морды песок, а потом вскочил на лапы и принялся отважно лаять.

– Лучше поздно, чем никогда, – усмехнулся Саша. – Эх, Берген, только за старость тебя прощаю! Да артист ты уж больно талантливый. – Повернувшись ко мне, Саша объяснил: – Он у нас в «Каштанке» главную роль исполнял. Да ещё как! Три раза раскланиваться выходил.

– Как зовут собаку? – с удивлением спросил я. – Берген?

– Ой, правда, хорошее имя? Это Саша придумал. Оригинальное имя, правда? – зататорила Липучка.

– А что это значит – Берген? – спросил я. – Уж лучше бы назвали просто Бобиком или Тузиком. А то Берген какой-то... Чуть ли не «гут морген»!

– Сам ты «гут морген»! – рассердился Саша. – Мы со смыслом назвали.

– С каким же смыслом?

– Не понимаешь, да? Эх, и медленно у тебя котелок варит! Какой породы собака?

– Шпиц, – уверенно ответил я, потому что эту породу нельзя было спутать ни с какой другой.

– Ясное дело, шпиц. А теперь произнеси в один приём название породы и имя. Что получится?

– Шпиц Берген...

Шпиц Берген... Да, видно, Саша, как и я, бредил путешествиями и дальними землями, если даже собаку в остров перекрестил.

Саша вытащил из шалаша большой фанерный ящик,

– А это что? – спросил я.

Он опять нахмурился:

– Не видишь, что ли? Ящик из-под сахара. Мы его к плоту прибьём – и получится капитанский мостик, с которого я буду вами командовать. Понял?

– Понял.

– Мог бы сам догадаться.

После этого мне, конечно, не очень-то хотелось задавать Саше новые вопросы. Но я всё-таки не удержался и спросил:

– А куда мы поплывём? Куда-нибудь далеко-далеко? Я давно хотел...

И эти слова почему-то очень не понравились Саше.

– Ишь какой Христофор Колумб объявился! «Поплывём! Далеко-далеко!» Будем здесь, возле холма, курсировать – и всё.

– У-у!.. – разочарованно протянул я. – Это неинтересно. Я думал, будем путешествовать...

– Мало что неинтересно! Не могу я уехать. Понял?

– Почему не можешь?

– Не могу – и всё. Тайна!

– Тайна? – шёпотом переспросил я. Это слово я всегда произносил шёпотом. – Здесь, в Белогорске, тайна?

– Да вот, представь себе. Здесь, в Белогорске.

– И ты из-за неё не можешь уехать?

– Не могу.

Я позавидовал Саше: у него была тайна! И, наверное, очень важная, если из-за неё он отказывался от дальнего путешествия. Чтобы я больше ничего не выведал, Саша тут же заговорил о другом.

– Ты, Олимпиада, кормила Бергена? – с напускной строгостью спросил он.

Я помимо воли улыбнулся:

– Олимпиада!..

– Чего зубы скалишь? – разозлился Саша. – Ничего нет смешного. Пьесы Островского никогда не читал? У него там Олимпиады на каждом шагу.

– Я читал Островского. И даже в театре смотрел.

– Ой, ты небось каждый день в театр ходишь? – воскликнула Липучка, которая совсем не обиделась на меня.

– Не каждый день. Но часто...

– Ты и в Большом был?

– Был.

– Ой, какой счастливый! Ты небось и книжки все на свете перечитал? У вас ведь там прямо на каждой улице библиотека!

– Да... читаю, конечно...

Только-только я стал приходить в хорошее настроение, как Липучка всё испортила:

– Ой, ты небось отличник, да?

И почему ей пришёл в голову этот дурацкий вопрос? Я только и мог неопределённо пожать плечами, как научил меня товарищ в Москве.

– Я так и думала, что ты отличник!

А Саша всё хмурился. «Наверное, хвастунишкой меня считает, – подумал я. – Но ведь я ничего определённого не сказал.

Я только пожал плечами – и всё. Это же Липучка раскричалась: „Отличник, отличник!“ А почему я, в самом деле, должен срамиться и всем про свою двойку докладывать?»

– Ясное дело, у них там отличником быть ничего не стоит, – мрачно сказал Саша. – Все книжки перечитаешь, пьесы пересмотришь – и сразу всё знать будешь. Даже в учебники лазить необязательно.

От Сашиних слов мне почему-то захотелось нагнуться и получше разглядеть камешки под ногами.

– Ну ладно, – сказал Саша. – Давайте плот строить.

Он объяснил, что мы скрепим все балки и брёвна поперечными досками, перевьём их проволокой, приколотим ящик, из которого он, Саша, будет нами командовать, и спустим плот на воду.

– Ты работать умеешь? – сердито, будто заранее сомневаясь, спросил Саша.

– А чего тут уметь? Подумаешь, дело какое!

Тогда Саша приказал мне укоротить два берёзовых бревна, которые были гораздо длиннее других.

– Чтобы не выпирали, – объяснил он и принялся доламывать старую калитку.

Я взял топор, закинул его обеими руками за правое плечо и что было силы хватил по краю бревна. Но бревно от этого не укоротилось, а треснуло где-то посередине и раскололось.

– Эх ты! – с презрением произнес Саша. – Разве это топором делают? А пила зачем? Целое бревно испортил!

Даже Липучка смотрела на меня так, что я понял: она не только восторгаться умеет – и своё знаменитое «ой» по-разному произносит.

– Ой! – насмешливо сказала она. – Топор держать не умеет! Дрова, что ли, никогда не колот?

– А зачем ему колоть? – за меня ответил Саша. – У них там в квартирах и газ, и паровое отопление... Что угодно для души! А ещё кричал: «Путешествовать, путешествовать!»! На экскурсии тебе ездить, а не путешествовать!

«Я приехал! Приехал!»

Когда мы возвращались с реки, холм уже не был зелёным. Да и весь городок можно было назвать скорее не Белогорском, а Темногорском. Дорога показалась мне гораздо длиннее и круче, чем утром. Я подумал, что летние дни очень длинные и, раз уже успело стемнеть – значит, совсем поздно. Вдобавок ко всему у меня что-то перекатывалось в животе и неприятно посасывало под ложечкой.

За целый день я съел всего два невымытых горьких огурца и кусок чёрствого чёрного хлеба. Всё это хранилось у Саши в зелёном шалаше. Один раз Саша сбегал в город и принёс оттуда миску горячего супа, но отдал её шпицу Бергену. А нам с Липучкой он не дал супа, потому что мы, по его словам, должны были тренировать свои желудки и закаляться, как будущие моряки.

– Ну да, «закаляться»! – ныл я, с завистью поглядывая на шпица Бергена, который шумно лакал из миски дымный, пахучий суп. – Если бы далеко поплыли, тогда другое дело! А то здесь, поблизости, будем крутиться. Зачем же нам закалка?

«Сам небось наелся в свое удовольствие, когда шпицу за едой бегал!» – так я со злости думал о Саше, поднимаясь на холм и от голода чувствуя слабость в ногах. Что бы сказала мама, если б узнала про сегодняшний день? Ведь она сколько раз повторяла: «Ты должен поправиться, ты должен поправиться! И кушай в одни и те же часы – это самое важное!» Слушая мамины слова, я только усмехался, а вот сейчас я почувствовал, что кушать вовремя – это, может быть, и не самое важное дело, но, во всяком случае, очень существенное.

Вспомнив о маме, я с ужасом вспомнил и о том, что до сих пор не послал телеграмму. А ведь мама перед отъездом говорила: «Прежде всего дай телеграмму. Прежде всего! А то мы все здесь с ума сойдём. Помни, что у бабушки больное сердце!»

«Наверное, все уже давно сошли с ума!» – подумал я и помчался на почту.

В Белогорске всё было очень близко, и почта тоже была совсем рядом с дедушкиным домом.

Полукруглые окошки на почте были уже закрыты фанерными дощечками, и только одно светилось: там принимали телеграммы. Возле окошка с бланками в руках стояло несколько человек.

Я ещё ни разу в жизни не посылал телеграмм, но знал, что настоящая телеграмма должна быть очень короткой. «Это хорошо, – подумал я, – меньше ошибок насажаю». К тому же у меня болел средний палец: от пилы на нём выскочил беленький, точно резиновый пузырик.

Текст телеграммы я придумал сразу: «Приехал поправляюсь Шура». Как будто коротко и ясно? Но оказалось, что не так уж ясно. Два вопроса сразу стали мучить меня: «приехал» или «преехал», «поправляюсь» или «паправляюсь»? Я старался изменить телеграмму, чтобы в ней не было ни одной безударной гласной. Но у меня ничего не выходило. Боясь, чтобы телеграфистка, как Андрей Никитич, не вlepила мне двойку, я прибегнул к своему старому, испытанному способу: написал сомнительные буквы так, чтобы не было понятно: «е» это или «и», «а» или «о». «В общем, трудно быть двоичником по русскому языку, – с грустью подумал я. – Даже телеграмму по-человечески не напишешь!»

В последнюю минуту я вдруг вспомнил, что ведь мама никогда не называла меня Шурой. Зачеркнул «Шура» и написал «Саша». И как это меня за один день так приучили к новому имени?!

У окошка остались только двое. Передо мной стоял человек в белой соломенной шляпе. Спина его, и без того немного сутулая, совсем сгорбилась, наклоняясь к окошку.

За стеклянной перегородкой сидела старая телеграфистка со сморщенным лицом. На кончике её носа умещались сразу две пары очков. Но глядела она поверх облезлой коричневой оправы, и я не мог понять, зачем же она так отягощает свой нос. Каждую телеграмму телеграфистка негромко прочитывала вслух и делала это с таким сердитым видом, будто написавший телеграмму лично перед ней в чём-то провинился. Но, увидев человека в соломенной шляпе, она просунула сквозь окошко руку, испачканную лиловыми чернилами, и поздоровалась.

– Наша Ляленька совсем забыла про ангины, – сказала она. – Не знаю уж, как вас благодарить!

– А вот примите телеграмму и отправьте поскорее. Это, вообразите, очень важно, – ответил человек в соломенной шляпе. Голос у него был хрипловатый, но очень добрый и участливый. Таким вот голосом врачи спрашивают: «Как ваше самочувствие? На что жалуетесь?»

Телеграфистка осторожно, одними пальцами, точно драгоценность какую-нибудь, взяла бланк и стала шептать:

– «Москва, Ордынка...»

«Моя улица!» – чуть было не крикнул я. И мне вдруг показалось, что я уехал из Москвы давным-давно, хотя на самом деле это было только позавчера.

Телеграфистка долго не могла разобрать номер дома. Но не спрашивала, боясь лишний раз побеспокоить человека в соломенной шляпе. Наконец она зашептала дальше:

– «Дом шестнадцать, квартира семь...»

Я замер.

– «Почему не приехал Саша? – шептала телеграфистка. – Волнуюсь, молнируй. Папа». Я, как говорится, потерял дар речи. Папа? Здесь мой папа?

Но тут же я понял, что это не мой папа, а папа моей мамы – стало быть, мой дедушка! Телеграфистка уже начала подчёркивать слова в телеграмме, но я остановил её:

– Постойте! Постойте! Я приехал! Приехал! Честное слово, приехал!

Я увидел, как дрогнула соломенная шляпа. Человек обернулся – и я, отступив на шаг, тихо сказал:

– Дедушка...

Он и правда был похож на Антона Павловича Чехова: русая курчавая бородка, такие же усы, пенсне на цепочке. Только выглядел он гораздо старше Антона Павловича, потому что Чехов, к сожалению, не дожил до его лет. Сквозь пенсне смотрели добрые и чуть-чуть лукавые глаза.

Я видел дедушку очень давно, когда в школу ещё не ходил. Дома у нас висела его фотография. Но там он был совсем молодой, моложе, чем сейчас мой папа.

Дедушка гладил меня по голове и разглядывал, как бы желая удостовериться, я это или не я.

– Саша? Приехал, а?.. Слава богу, слава богу! А то уж тут совсем голову потеряли...

Дедушка высунулся в окно и негромко позвал:

– Клавдия Архиповна! Он здесь! Приехал, вообразите!

Сразу с шумом распахнулась дверь, и вошла высокая худощавая женщина в фартуке. Я узнал Сашину бабушку. Она с самым грозным видом оглядела меня и, точь-в-точь как Саша сегодня утром, спросила:

– Приехал?

Потом выждала немного и своим грубоватым, мужским голосом задала новый вопрос:

– Заявился, значит? Пожаловал! А где же целый день околачивался?

– Мы, тётя Кланя, на реке были... – стал робко оправдываться я.

И тут лицо Клавдии Архиповны преобразилось. Глаза её подобрели и стали такими тёплыми, словно она вспомнила что-то далёкое и очень приятное.

– Как?.. Как ты сказал? «Тётя Кланя»! Да ведь это его Маришка научила! Маришка! Значит, не забыла меня? Она одна меня только так и величала. На всём белом свете – она одна! А больше никто...

Я понял, что Маришкой она называла мою маму. Клавдия Архиповна стала разглядывать меня уже не с таким грозным видом.

– А Маришка-то в его годы покрепче была. Да, покрепче. Ишь, бледный какой, ровно укус глотает. И взгляд пугливый. Маришка-то наша посмелее была.

Телеграфистка, должно быть, ко всему привыкла: сколько чужих радостей и печалей проходило каждый день через её окошко! И всё-таки она привстала, облокотилась на столик и тоже с интересом разглядывала меня.

– Маринин сынок? – недоверчиво спросила она. – Такой большой? Эх, и летят же годы! Помню, как она сама до окошка моего не дотягивалась...

Телеграфистка тяжело опустилась на стул, стащила с носа обе пары очков и мечтательно запрокинула голову: молодость свою вспомнила.

Тётя Кланя была права – должно быть, у меня и правда был испуганный взгляд: разве приятно, когда тебя с ног до головы, как экспонат какой-нибудь, разглядывают?

Дедушка послал маме телеграмму о моём благополучном приезде, и мы отправились домой.

Уже у самого дома тётя Кланя сказала:

– А Сашке моему я сегодня нащёлкаю по затылку! Это всё его проделки.

– Пощадите его, Клавдия Архиповна! – заступился дедушка. – Я уже совсем успокоился, вообразите.

– Нет, не уговаривайте меня, Пётр Алексеич. Не успокаивайте, – сказала тётя Кланя таким мирным тоном, что я понял: она сама успокоилась и Саше ничего не грозит.

У дедушки в комнате на самом видном месте, в рамке под стеклом, висела похвальная грамота, которую моя мама получила в десятом классе.

– Я ещё много грамот храню, – сказал дедушка. – Все-то не вывесишь. Марина, вообрази, в каждом классе награды получала. Только в пятом не получила. И, кажется, ещё в седьмом. Потому что болела. А?

Я, конечно, был очень рад за свою маму, был очень доволен, что она всегда так хорошо училась, но настроение у меня всё же испортилось. Я сразу решил, что буду писать диктанты без всякой дедушкиной помощи. И вообще ни слова не скажу ему о своей двойке, ни слова!

Дедушка задавал мне много разных вопросов, а я подробно рассказывал ему про здоровье мамы, и папы, и папиной мамы, то есть моей бабушки... А потом я поскорей лёг в постель, пока дедушка не добрался до моего здоровья и до моих отметок.

Но заснул я не скоро. Я думал о своих занятиях. И ещё я завидовал Саше: у него есть тайна! И какое-то очень важное, таинственное дело! А вот у меня, кроме переэкзаменовки, никаких таинственных дел не было.

Потом я с грустью подумал о том, что за весь день не сделал ни одного упражнения, не написал ни одной строчки диктанта и не выучил ни единого правила. Я быстро произвёл в голове кое-какие перерасчёты и пришёл к выводу, что теперь мне нужно заниматься не три часа в день, а три часа и десять минут.

Но в то же время...

Странно бывает просыпаться на новом месте. Сперва, в самый первый миг, не можешь понять, где ты и что с тобой. Потом, конечно, вспоминаешь – и становится как-то грустно, одиноко.

Просыпаясь дома, я всегда видел в окне молодое деревце неизвестной породы.

По крайней мере, никто из мальчишек в нашем дворе не знал, как оно называется. Осенью, в дождливые дни, деревце прижималось к окну своими голыми ветками, такими ниточно-тонкими, что их можно было принять за трещины на стекле. А весной деревце покрывалось зелёными, похожими на сердечко листиками.

Дальше, за деревцем, за двором, я привык видеть недостроенный дом с пустыми, незастеклёнными окнами – весь в деревянных лесах. Мне казалось, что дом этот строится всю мою жизнь. Его и правда начали поднимать много лет назад, а потом почему-то бросили. Об этом даже в газете статья была.

А в это утро передо мной было не окно, а белая стена, увешанная разными замысловатыми полочками и деревянными фигурками животных, как будто здесь устроили выставку нашего школьного кружка «Умелые руки». Всё это была дедушкина работа. «А с лобзиком – преотличнейший отдых, – ещё накануне вечером объяснил мне дедушка. – Руки работают, а нервы спят».

Окно было сзади, над головой. Мама никогда не разрешала так спать, говорила, что в голову надует. А вот дедушка (доктор!) сам предложил поставить раскладушку возле окна.

– Преотличнейшая будет вентиляция! – уверял он.

Дедушкина кровать была уже застелена. «Неужели так рано ушёл на работу?» – подумал я. Но тут же заметил висевшую на стуле самодельную палку, на которой были выжжены при помощи увеличительного стекла разные причудливые узоры.

Часы показывали семь утра. Это были самые обыкновенные ходики. Но дедушка вставил их в красивую резную оправу из дерева, тоже самодельную, так что виден был один только циферблат.

Мне показалось, что кто-то за моей спиной, крадучись, с тихим шорохом лезет в окно. Я быстро вскочил и увидел, как загорелая рука положила на подоконник две газеты и письмо. Газеты «Правда» и «Медицинский работник» были вчерашние. Я взглянул на письмо и тут же узнал крупный, аккуратный и разборчивый, как у девчонок-отличниц, мамин почерк. Письмо было адресовано Саше Петрову, то есть лично мне. Я хотел разорвать конверт, но тут послышался голос дедушки:

– Подожди, подожди! Давай марку исследуем.

Дедушка стоял на пороге по пояс голый и растирался мохнатым полотенцем.

Несколько минут он произносил одно только слово: «Хор-рошо-о! Хор-рошо-о!» Потом надел пенсне, взял у меня конверт и стал разглядывать марку.

– Да, ничего нет лучше утреннего обтирания! Так-с... – Он артистически ловко отделил марку от конверта. – Вообрази, все зубчики уцелели, все до одного! Плотина Днепрогэса! У меня ещё не было такого экземпляра.

С виду дедушка Антон был старик как старик (палка, пенсне, жилет с цепочкой), но в то же время в нём было много молодого, мальчишеского: он собирал марки, обтирался холодной водой, что-то выжигал, вырезал, выпиливал...

На полке стояли самодельные шахматы (тоже его собственной работы), в которые, как предупредил дедушка, мы обязательно будем играть, «потому что шахматы – преотличнейшая гимнастика для человеческих мозгов».

Спал дедушка на узкой деревянной кровати и укрывался одной только простынёй.

Пока дедушка одевался, я читал вслух мамино письмо:

– «Дорогой Саша! – писала мама. – Как только мы с бабушкой вернулись с вокзала, так сразу я села писать письмо. Ведь я забыла предупредить тебя о том, что Белогорка – очень опасная река. Там много ям и воронок. Так что, прошу тебя, не уходи далеко от берега...»

– А ты что, плаваешь плохо? – спросил дедушка.

– Да нет... Просто мама боится.

– «Боится!» – Он покачал головой. – Сама-то, поди, Белогорку нашу по десять раз переплывала. Забыла, что ли, как девчонкой была?

Я стал читать дальше и убедился, что мама решила вконец опозорить меня перед дедушкой.

– «Кушай в одно и то же время! – писала она. – Это самое важное. И ни в коем случае не пей воду из колодца!..»

Дедушка в это время сидел на кровати и, покрякивая, натягивал ботинок. Он так и застыл, пригнувшись всем телом к вытянутой ноге.

– Кушать в одно и то же время – весьма полезно. Присоединяюсь! Но в чём же, скажи на милость, колодезная вода проштрафилась? Преотличнейшая вода! Как врач рекомендую и даже прописываю! – И, продолжая натягивать ботинок, он проворчал: – Сама-то всегда к колодцу бегала! И никогда, слава богу, не болела.

Но самое неприятное в маминном письме было дальше.

– «Ты, Сашенька, гуляй, играй с товарищами, – писала мама. – Но в то же время...» – На этой фразе я споткнулся и замолчал: дальше мама писала о моей переэкзаменовке и о том, как упорно я должен пыхтеть над учебниками.

– Что там «но в то же время»? – спросил дедушка, надевая жилет. – Разобрать не можешь? У Марины ведь, кажется, каллиграфический почерк. Не скажешь даже, что докторская дочка.

– А у докторов разве плохие почерка? – спросил я с наигранным интересом, лихорадочно соображая, что же делать дальше.

– У докторов почерки прескверные: пишут истории болезни, рецепты – торопят. Вот и выходят каракули. Дай-ка я тебе помогу разобрать.

– Да нет, уже всё понял, – остановил я дедушку. И стал горячо, прямо-таки вдохновенно сочинять: – «Но в то же время ты, Саша, должен заботиться о своём дедушке! Ты должен во всём помогать ему. Не забывай, что он уже старик...»

– Что, что? – насторожился дедушка и даже палкой слегка пристукнул. – Так прямо и написано: «старик»? Дай-ка я посмотрю!..

– Нет-нет, ошибся! – вновь остановил я дедушку. – Тут написано не «старик», а «привык»... Значит, так: «Не забывай, что он уже привык жить один, и поэтому не утомляй его, не шуми, не надоедай!»

Для правдоподобности я закончил письмо так, как закончила его сама мама:

– «Целую тебя, Сашенька. Поцелуй и дедушку. Я ничего не написала ему и о нём, потому что думаю послать ему завтра отдельное письмо...»

– Как же – ничего не написала? – удивился дедушка. – Ты ведь только что читал...

– Забыла, наверное, – предположил я. – Просто забыла.

И поскорей сунул письмо под подушку. Дедушка покачал головой и недовольно подёргал цепочку от пенсне:

– Да, память, поди, прескверная стала. Ей бы самой приехать сюда. Отдохнуть от шума, от города...

Дедушкина палка бойко пересчитала ступеньки крыльца и, прикоснувшись к земле, как бы потеряла голос.

Я остался в комнате один. И сразу, подгоняемый маминым письмом, решил сесть заниматься. Чтобы убедить самого себя, что заниматься буду очень серьёзно, я разложил на столе сразу две тетради, учебник грамматики и томик Гоголя. Я решил тренироваться на гоголевских текстах, чтобы было одновременно и полезно, и весело. К тому же учительница говорила нам, что у Гоголя попадаются фразы, очень трудные для двоечников.

«Возьмусь за самое трудное! И просижу сегодня ровно три часа десять минут. Ни за что на свете не нарушу графика!» – так мысленно поклялся я сам себе.

И в ту же секунду услышал пронзительный крик:

– Ой, пираты! Пираты! Пираты напали!

Пираты

По ступенькам застучали голые пятки.

Пока Липучка появилась в дверях, я успел накрыть тетради и книжки скатертью и запустить глаза в потолок. Распахнув дверь, Липучка взглянула на меня так, словно кругом бушевал пожар, а я сидел себе преспокойно, не замечая никакой опасности.

– Ой, сидит! Ручки скрестил, мечтает! А там пираты напали! Шалаш растаскивают. Бежим скорей! Где дедушкина палка?

– Где палка? – заволновался я, вскакивая со стула. – Она в больнице... То есть дедушка в больнице.

– Ой, плохо! А то бы мы их палкой по шляпам!

– По каким шляпам?

– Там увидишь. Бежим!

Саша был уже во дворе. Между нашим и Сашиним крыльцом на верёвке белым накрахмаленным занавесом было развешено бельё. Саша приказал Липучке снять бельё и отнести его в комнату.

– Сделаем из верёвки лассо, – крикнул он, – и накинем на них, если будут сопротивляться! Как у Майн Рида!

Мы отвязали от столбов верёвку. Саша ловко, в два приёма, сделал на конце петлю и покрутил ею в воздухе. Потом мы помчались с холма вниз, к реке.

Подбежав к берегу, мы спрятались в кустах и стали наблюдать.

Пиратов было двое. Вместо чёрных пиратских флагов они держали в руках белые панамы и зловеще обмахивались ими. Оба они были в красных купальных костюмах и с зелёными листочками на носах. Но только один пират был толстый-претолстый, а другой – щуплый и худенький.

Пиратская база, в виде тёплого зимнего одеяла и разных баночек-скляночек на нём, расположилась вблизи от нашего шалаша. Тут же лежали снятые с него зелёные ветки. Обмахнувшись панاماми, пираты как ни в чём не бывало стали продолжать своё разбойничье дело. Отдирая широкую хвойную ветку, толстый пират или, вернее, пиратка произнесла:

– Не лезь, Веник, ты занозишь руки иголками! Я всё сделаю сама. У нас будет очаровательный тент. Мы спрячемся под ним от солнца. А то может быть солнечный удар!

– Я их знаю, – еле-еле, сквозь смех, выговорил я. – Это же дикари! Самые настоящие дикари!..

– Ясное дело, дикари, раз в чужой дом залезли, – угрюмо согласился Саша. – Мы строили, а они ломают... Сейчас вот на этого бегемота в панаме накину лассо!

Но заарканить Ангелину Семёновну Саша не успел... В стане пиратов вдруг поднялось страшное смятение. Веник хотел залезть внутрь шалаша и, видно, наступил на лапу спавшему там шпицу Бергену. Старый пёс вскочил, взвизгнул и спросонья тяпнул Веника за ногу.

Что тут началось!

– Покажи мне ногу! Покажи маме ногу! – завопила Ангелина Семёновна.

А разглядев ногу Веника, она завопила ещё сильнее:

– Боже мой! Это бешеная собака! Видишь, она всё время отворачивается от реки, она боится воды! Она боится воды! Она бешеная!..

– Сама бешеная, а нашего Бергена оскорбляет! – проворчал Саша. – Молодец, что тяпнул: не будут чужие вещи таскать!

Ангелина Семёновна вдруг замахнулась чем-то – мы не разглядели, чем именно, – и спиц жалобно взвизгнул.

– Ну, вот видишь! – закричала Ангелина Семёновна. – Я проверила! Она, конечно, боится воды! Слышишь, как визжит?

Пиратка сгребла своё ватное одеяло, баночки и скляночки с едой и, крикнув Венику: «За мной! В больницу!» – стала карабкаться на холм. Впопыхах она даже не надела платья, а так и полезла в своём красном купальном костюме.

– Ей бы гладиаторшей в цирке работать. Быков пугать! – насмешливо сказал Саша.

А Липучка ничего не могла произнести: она беззвучно хохотала, тряся плечами и хватаясь за живот.

Как только мы вылезли из своего укрытия, шпиц Берген с визгом бросился к нам навстречу.

– Ой! – вскрикнула Липучка. – Они его поранили!

И правда, вся морда у пса была в крови; кровь, стекая по длинной белой шерсти, капала на камешки.

Сашино лицо вдруг побледнело и стало таким злым, что я даже испугался. Глаза сузились и стали похожи на металлические полоски, а губы сжались ещё плотней.

– Догоню их сейчас и сдам, как самых настоящих разбойников, в милицию, – процедил он. Опустился на колени и стал разглядывать раненого пса.

Постепенно Сашины губы сами собой разжались и стали растягиваться в улыбку. Он поймал на ладонь одну красную каплю и слизнул её.

– Ой, что ты делаешь? – изумилась Липучка.

– Морс пробую... Клюквенный морс! Главная пиратка облила его морсом, чтобы проверить, боится ли он воды. Понятно?

Липучка опять стала трясти плечами и хвататься за живот. Потом она потащила пса в реку умываться.

– Ну, не упрямясь, не упрямясь, пожалуйста! Ты вёл себя как настоящий герой: один сражался с двумя дикарями. И обратил их в бегство. А мыться боишься! Ну, не упрямясь! – приговаривала она.

Мы с Сашей стали ремонтировать шалаш, в котором появились просветы, словно длинные неровные окна.

– Хорошо ещё, что плот наш по брёвнышкам не растащили, – ворчал Саша. – Для «тента» своего... Чтобы от солнца прятаться! Кто же это из нормальных людей от солнца прячется?

Мы водворили колючие хвойные и шершавые лиственные ветки на их прежние места, заделали все просветы.

– Сейчас будем плот на воду спускать, – объявил Саша.

Наступила торжественная минута. Мы с трёх сторон уцепились за брёвна и поволокли плот к реке. Он упирался, цеплялся сучками за камни. Но мы всё тащили, тащили – и вдруг плот стал лёгким, невесомым, он сам потащил нас за собой.

– Ур-ра! Поплыл! Поплыл! – завизжала Липучка. – Ур-ра! – И первая полезла на плот.

Мы с Сашей тоже полезли, и разноцветная, сколоченная из разных брёвен «палуба» заходила ходуном.

Мама всегда говорит, что у меня очень богатое воображение. Вот, например, я могу себе представить, что троллейбусы, сгрудившиеся на конечной остановке, – это стадо каких-то огромных животных с длинными и прямыми рогами, пришедших на водопой. А однажды, когда мы с мамой зашли в посудный магазин, я представил себе, что разнокалиберные чайники, стоявшие на полке, – это одна большая семья: самый высокий тощий чайник, или, вернее сказать, кофейник, – это сухопарый, подтянутый папа; самый толстый, в красных кружочках, – это расфуфыренная мама, а маленькие разноцветные чайнички – их многочисленные детишки. Помню, мама тогда сказала:

– С твоим воображением можно стать писателем. Но сейчас ты, к сожалению, можешь издать лишь «Полное собрание орфографических ошибок».

Так ила иначе, но воображение у меня было очень богатое. И вот, впервые забравшись на плот, я на минуту прищурил глаза и представил себе, что переливчатая, чешуйчато-золотистая под солнцем вода – это вода океана, притихшего и виновато вздыхающего после бури. Наш плот – это всё, что осталось от гигантского корабля, потерпевшего кораблекрушение. Зелёный холм – это вулкан, который в любую минуту и без всякого предупреждения может начать извергаться. А навстречу нам плывёт неминуемая гибель в виде белого айсберга, с которым мы вот-вот должны столкнуться. Айсбергом мне почудился белый шпиц Берген, который не пожелал остаться без нас на полуострове, отважно пустился вплавь и догнал плот. Правда, шпиц, плывущий по реке, больше напоминал не грозную гору, а чудом уцелевшую в ясный солнечный день льдинку, покрытую снегом.

Липучка втащила пса на борт нашего «корабля».

– Примем и его в нашу команду, раз людей не хватает, – сказал Саша.

Он забрался в ящик из-под рафинада, то есть на капитанский мостик, и отдал первое распоряжение:

– Ты, Шурка, будешь помощником капитана, боцманом и рулевым. Бери шест и слушай мою команду! Липучка будет доктором и коком. А кто у нас будет просто матросом? Ведь должны быть на корабле рядовые матросы? Ясное дело, должны.

Вдруг Саша вытянул руку и указал на холм, к вершине которого карабкались две смешные фигурки в белых панاماх, словно два живых гриба: один на толстой ножке, а другой – на тонкой.

– А если нам этого... худенького пирата матросом сделать?

Я не поверил своим ушам:

– Веника? Матросом? Да его мамаша от своей юбки ни на шаг не отпустит!

– Не отпустит? А мы его похитим, – совершенно серьёзно сказал Саша.

– Как это похитим?

– Придумаю как. Мамаша и не заметит. Понятно?

– Да стоит ли из-за него руки марать? – усомнился я. – Похищать! Что он, восточная красавица, что ли? Без него обойдёмся. Разве у тебя нет хороших товарищей?

– Товарищей у меня побольше твоего. Да они все в туристический поход уплыли...

– Уплыли? Вот видишь! И нам бы тоже! Почему ты с ними не уплыл?

Саша хмуро взглянул на меня:

– Не мог. Дело у меня есть.

– Тайна, да?

Саша утвердительно кивнул головой:

– Тайна.

«Будет ли такой счастливый день, когда я узнаю его замечательную тайну? – подумал я. – Доверит ли он мне?...»

Потом Саша сложил руки трубочками, приставил эти трубочки, как бинокль, к глазам и скомандовал:

– Полный вперёд!

Я погрузил свой длинный шест в воду, достал до дна и что было сил оттолкнулся – наш плот рывком прибавил скорость.

Чистые промокашки

Шли дни, а розовые промокашки в моих новеньких тетрадях оставались незапятнанными. Мне нечего было промокать, потому что я ничего не писал. За это время мама успела прислать ещё два письма – одно дедушке и одно мне.

Жалея дедушкины глаза, я оба письма прочитал вслух, а потом быстро разорвал их и развеял по ветру.

В каждом из этих писем мама беспокоилась о моём здоровье, она советовала мне побольше дышать свежим воздухом и вовремя принимать пищу. И в обоих письмах, где-то в конце страницы – казалось, совсем другим, зловещим, не маминым почерком – было написано: «Но в то же время...» И дальше мама напоминала о моей переэкзаменовке.

Тут я спотыкался и начинал выдумывать. «Но в то же время Саша не должен забывать и о духовной пище: побольше читать разных интересных книжек и главное – почаще ходить в кино!» – так сочинял я, читая письмо, адресованное дедушке.

А сочинив про кино, я подумал, что каждый раз, читая мамины письма, смогу придумывать что-нибудь выгодное для себя. И в следующий раз, дойдя до слов «Но в то же время...», я сочинил вот что: «Но в то же время ты, Саша, ни в коем случае не должен расти маменькиным сыночком. Купайся в реке сколько тебе будет угодно! И на солнце можешь лежать хоть целый день. Спать ложиться вовремя совсем не обязательно, можно лечь и попозже – ничего тебе не сделается! Да и насчёт пищи я тоже передумала: можешь принимать её в любое время...»

Кажется, я перестарался, потому что дедушка поправил пенсне на носу, будто желая получше разглядеть мое лицо.

– Так-с, – задумчиво произнёс он. – Маменькиных сынков мы ещё в гимназии били. И сейчас терпеть их не могу. Но вот относительно питания и солнечных ванн Марина, кажется, переборщила. А вообще-то преотличнейшая вещь – расти на свободе!

Потом мама ещё присылала письма. Несколько раз их читал дедушка. Но, к моему счастью, мама ничего больше о переэкзаменовке не писала. Решила, что я наконец запомнил её советы и занимаюсь вовсю.

Я и в самом деле каждое утро раскладывал на столе свои учебники и тетради, самодельную деревянную чернильницу и самодельную резную ручку дедушкиной работы. Но розовые промокашки так и оставались чистыми, потому что тут же раздавался стук в дверь. Приходили дедушкины пациенты. Одним он просил передать рецепты, другим – устные советы. А так как все больные в городе с детства привыкли лечиться только у дедушки, верили только ему и называли его «профессором», дверь не переставала открываться и закрываться, как в самой настоящей поликлинике.

Приходили даже больные с Хвостика. Хвостиком называли окраину города, которая была за рекой и вытянулась в узкую длинную ленту из белых домиков. В обход, через мост, до Хвостика нужно было добираться часа полтора. А по реке, говорили, гораздо быстрее.

Некоторые пациенты просили дедушку зайти вечером к ним домой, «если он, конечно, не очень устанет». Они прекрасно знали, что дедушка всё равно зайдёт, как бы он ни устал.

Как только раздавались шаги, я поспешно прятал под скатерть всё, что могло уличить меня. Ведь каждый раз я ожидал увидеть в дверях Сашу или Липучку, а для них я был «очень культурным, очень образованным и очень грамотным москвичом». Когда же наконец у меня лопалось терпение и я твёрдо решал оставить скатерть в покое, в дверях действительно появлялись мои новые друзья. Прятать улики было уже поздно, и я попросту спихивал их под стол. От этого учебники мои несколько поистрепались и стали какими-то «раздетыми», то есть выскочили из обложек.

Иногда мне вдруг чудились тяжёлые шаги Андрея Никитича. Он ведь обещал «как-нибудь нагрянуть в гости». Но он не приходил. «Наверное, презирает меня! Смеётся!» – с досадой думал я, вспоминая про двойку с ехидной закорючкой на конце.

Каждую ночь, ложась в постель, я делал сложные перерасчёты и заново составлял график своих занятий. Получалось, что я должен заниматься каждый день по три с половиной часа, потом по четыре часа, по четыре с половиной... Цифры всё росли и росли. Когда наконец дошло до пяти часов, я сказал себе: «Хватит! Этак в конце концов получится, что я должен заниматься двадцать пять часов в сутки! Завтра меня никто не спугнёт!»

И снова меня спугнула Липучка. Она всегда очень оригинально входила в комнату: стукнет – и тут же войдёт, не дожидаясь, пока я скажу «Можно» или «Кто там?». Непонятно даже, для чего она стучалась. Я еле-еле успевал сбрасывать под стол учебники и тетради. Так было и на этот раз.

Но на пороге Липучка очень долго переминалась. Ясно было, что она хочет о чём-то спросить меня или попросить.

Липучка была вся какая-то разноцветная: волосы – рыжие, лицо – красное от смущения, сарафан – неопределённого выгоревшего цвета, ноги – сверху бронзовые, а внизу серые от пыли, будто нарочно присыпанные порошком.

– Ой, не знаю прямо, с чего начать... – выговорила наконец Липучка.

– А ты начни с самого начала, – посоветовал я.

Набравшись смелости, она начала:

– Ой, Шура, ты должен мне помочь! Заявление одно составить... Очень важное! В горсовет. Понимаешь?

Я покачал головой: дескать, пока ничего не понимаю.

– Ну, в общем, дело такое, – стала объяснять она. – От станции до нашего города довольно далеко. Да ещё дорога в гору... А автобуса нет. Хоть на себе вещи волоки!.. Надо, чтобы автобус ходил.

– А чего ты об этом беспокоишься? – удивился я.

Липучка стала тыкать в меня пальцем, как в чудо какое-нибудь:

– Вот смешно! Не понимает! Люди ведь с вещами приезжают, а автобуса нет. Ну вот, значит, разные... – Тут она замялась, подыскивая подходящее слово. – Ну, в общем, разные несознательные люди всем этим пользуются. На государственных телегах возят приезжих, а денежки себе в карман кладут.

И снова я подумал: «Нет, Липучка не только „ойкать“ умеет!»

– Надо написать про всё это, – решительно продолжала она. – Только я сама не смогу: не умею я заявления писать. А ты лучше напишешь! Так, что сразу резолюцию красным карандашом поставят. Знаешь, в левом уголке...

«Да, поставят резолюцию красным карандашом! – подумал я. – Двойку с ехидной закорючкой поставят, как Андрей Никитич. До чего же это неприятное дело – быть двоечником! И ещё зачем-то, как дурак, пожимал плечами. Рассказал бы честно про двойку, а то вот выкручивайся теперь!» Но вздохнуть было поздно, и я выкрутился.

– Помочь – это можно, – сказал я. – Только у меня очень плохой почерк, ты ничего не разберёшь. Я сам иногда не разбираю.

– Ой, это ничего! – успокоила Липучка. – Ты мне продиктуй, ладно? А я запишу.

Это был выход из положения.

– Хорошо, я буду диктовать, а ты пиши, – согласился я.

Чернила и ручка были на столе, словно поджидали Липучку. Сочинять мне было не впервой: натренировался уже, читая мамины письма. Кроме того, одна наша соседка в Москве очень любила сочинять всякие жалобы и собирать под ними подписи жильцов: то ванна протекает, то кто-то из соседей долго разговаривает по телефону. Прежде чем собирать

подписи, соседка читала свои заявления вслух на кухне. Каждую жалобу она начинала словами: «Нельзя без чувства глубокого гражданского возмущения писать о том...» И я начал диктовать Липучке:

– «Нельзя без чувства глубокого гражданского возмущения писать о том, что между городом и станцией нет автобусного сообщения...»

Потом я вспомнил, что соседка наша обязательно употребляла такие выражения:

«используя своё служебное положение», «некоторые личности», «не пора ли». Я продиктовал Липучке:

– «Используя свое служебное положение, некоторые личности перевозят приезжих за деньги на государственных телегах. Не пора ли покончить с этим?..»

И ещё мне вспомнилось, что каждую жалобу соседка наша кончала угрозой: если, мол, не примете мер, то буду жаловаться выше. И я продиктовал:

– «Если автобуса не будет, мы напишем жалобу в Москву!..» – А потом посоветовал Липучке: – Теперь собери подписи. Побольше подписей... И всё будет в порядке.

– Ой, как коротко получилось! – воскликнула Липучка, разглядывая тетрадный лист, который остался почти чистым.

– Это хорошо, что коротко, – объяснил я. – Длинное заявление могут не дочитать до конца. Понимаешь?

– Понимаю. Ой, ты очень здорово продиктовал! Прямо как взрослые пишут в самых настоящих заявлениях!

Липучка аккуратно свернула лист в трубочку, а я скромно развёл руками: дескать, что уж тут особенного: написать заявление – это для меня раз плюнуть.

Липучка хотела сразу бежать в горсовет, но я остановил её:

– А подписи?

– Ой, их собирать очень долго!

Мне в голову сразу пришла идея.

– Не надо собирать. Напиши внизу так: «Белогорские пионеры, всего три тысячи подписей».

– Что ты, что ты! Три тысячи! У нас и с грудными младенцами столько ребят не наберётся.

– Тогда напиши: «Всего двести подписей». И дело с концом.

– Ой, разве можно? Ведь это неправда!

– Для хорошего дела всегда соврать можно, – успокоил я Липучку. Она снова уселась за стол.

Но тут мы услышали, что кто-то лезет в окно.

Похищение

Саша поудобнее устроился, укрепил свои локти на подоконнике и обвёл нас презрительным взглядом, как бы говоря: «Ерундой всякой занимаетесь, а я между тем...»

– Ой, что-нибудь случилось? – вскрикнула Липучка.

– Ага, случилось, – преспокойно ответил Саша. – Приготовьтесь, сейчас комнату подметать буду.

Подметать комнату? Рехнулся он, что ли? Мы с Липучкой растерянно переглянулись.

– Чего глаза таращите? – Саша подтянулся на руках, вскарабкался на подоконник и прыгнул на пол. – Веник со мной. Понятно?

– Ой, похитил? – Липучка, как всегда в минуты восторга, хлопнула в ладоши, так что даже помяла своё заявление. И, прижав руки к груди, затаила дыхание. Саша обшарил глазами стены.

– У тебя йод есть? – спросил он у меня. – Что-то я аптечки не вижу...

– Не знаю... Есть, наверное... А зачем тебе йод?

– Ой, ты небось поранил его, когда у мамы отбивал, да? – догадалась Липучка. – Лассо накинул, да?

– Что я, бандит какой-нибудь? Это я с пиратами хотел сражаться, а он вовсе не пират... Очень даже симпатичный парень, только застенчивый, как девчонка. Людей боится... Но мы это дело из него выбьем.

– Ой, мы его бить будем? – испугалась Липучка.

– Чудачка ты! Я же в переносном смысле. Ну, перевоспитаем, значит. Понятно?

– Понятно.

– А как же ты похитил? Ведь его мамаша от себя ни на шаг не отпускает, – спросил я.

– Узнаешь! Давай сюда йод.

Дедушка был доктором, но сам лекарств не любил. Я заметил, что, когда к нему приходили больные, он сразу лез в корзинку, стоящую за диваном. «Терпеть не могу, когда лекарства на видных местах выставляют, – говорил он. – Украшеньице так себе».

Я полез в дедушкину корзину, нашёл там пузырёк с йодной настойкой и передал его Саше.

– А теперь позови Веника, – распорядился Саша.

– Позвать?.. А где он?

– Возле крыльца мнётся. Стесняется. Ты ведь с ним в вагоне, кажется, в дипломатических отношениях не состоял.

– Да... Я там с Андреем Никитичем дружил. С подполковником артиллерии! – гордо сказал я. А потом, вспомнив, чем кончилась наша дружба, тихонько вздохнул. – Веник там, в вагоне, всё время книжки читал.

– Ой, книжки читал! – восхитилась Липучка. – Он тоже небось, как и ты, до ужаса грамотный, да?

Что касается Веника, то я не мог дать никаких определённых сведений, а сам я был грамотный действительно «до ужаса». И поэтому ещё раз вздохнул. А Липучка помчалась приглашать Веника. Он робко вошёл в комнату и остановился на пороге.

Был он в белой панаме и с книгой под мышкой.

– Идёт по городу – книгу читает, – сообщил Саша. – Ты и в Москве тоже с раскрытой книгой улицы переходишь?

– Что вы! В Москве я только в метро и в троллейбусе читаю. А на улице нельзя – там же светофоры.

– Автомобили там, а не светофоры! – сердито сказал Саша. – И на «вы» меня, пожалуйста, не называй. Понятно? Ишь какой интеллигентный! Задирай-ка рубаху!

Веник испуганно огляделся, точно просил у нас с Липучкой защиты.

– Ага, понимаю. Стесняешься? – сказал Саша. – Ты, Липучка, отвернись.

Веник покорно задрал рубаху и обнажил своё худенькое и бледное тело.

– Тебе бы Снегурочку в театре изображать, – сказал Саша. – Куда тебя доктора от бешенства колют? Покажи.

Веник испуганно схватился за живот.

– А вы что? Намерены... тоже колоть меня?

– Что я, сумасшедший, что ли? Как твоя мамаша?

Веник вдруг решительно одёрнул рубаху, и его бледное личико гневно порозовело, чего я уж никак не ожидал.

– Вы, пожалуйста, мою маму не задевайте! – гордо произнёс он.

Саша так и застыл с пузырьком в одной руке и с пробкой в другой.

– Ишь ты! «Не задевайте!» – удивлённо и вместе с тем уважительно сказал он. И, вроде бы извиняясь, добавил: – А чего же она нашего старого Бергена задевает? Бешеным его считает! Это же оскорбление, если хочешь знать. Оскорбление собаки – верного друга человека! Понятно? Да уж ладно. Задирай рубаху!

Веник покорно задрал её, и Саша стал мазать ему живот йодной пробкой.

– Тебя так после уколов мажут? – спросил Саша, разглядывая довольно большой коричневый островок, возникший на белой впадине, именуемой животом Веника.

– Та-ак... – протянул Веник. – Только вы уж очень густо... И много... И к чему вообще?..

– Во-первых, не «вы», а «ты»! – сердито сказал Саша. – А во-вторых, совсем не густо: маслом кашу не испортишь! Теперь, когда придёшь домой, задери рубашку и покажи своей маме. Понятно? И так каждый день будем делать. А ты, вместо того чтобы в поликлинике в очереди торчать, будешь с нами на плоту плавать.

И тут только я всё понял! Теперь, значит, в нашей корабельной команде будет хоть один рядовой матрос. Молодец Саша, ловко придумал!

Я становлюсь поэтом

И снова – уже в который раз! – меня спугнула Липучка. Как только я с тяжёлым сердцем (мне нужно было заниматься уже по восемь часов в сутки!) уселся за стол, она, даже для виду не постучавшись, влетела в комнату.

Я натренированным броском спихнул тетради и учебники под стол, а Липучка, размахивая газетой, не заговорила, а прямо-таки закричала:

– Ой, теперь я всё знаю! Теперь я всё знаю, Шура!

– Всё знаешь? Про меня?.. – Я испуганно попятился к окну.

– Да, всё знаю! Здесь всё написано! – Липучка перешла на таинственный полушёпот. Она выставила вперёд номер «Пионерской правды», словно собираясь выстрелить из него мне в самое сердце. – Здесь всё написано! А ты скрывал! И как тебе не стыдно, Шура! Как тебе не стыдно!

«Что там написано? – с ужасом подумал я. – Может быть, поместили заметку про мою двойку? А что ж такого, вполне возможная вещь! Ведь высмеивают там таких вот, вроде меня, безграмотных двоечников. Теперь всё погибло: Саша будет презирать меня. И Липучка тоже. И даже Веник. И бабушка всё узнает. И тётя Кланя. Какой позор! И почему я сразу всё по-честному не рассказал? Отличник! Образованный москвич! Выпрыгнуть, что ли, в окно и навсегда избавиться от позора?»

Но в окно выпрыгивать было бесполезно: бабушка жил на первом этаже. А Липучка всё наступала:

– Зачем же ты скрывал от нас? Зачем?

– Я всё расскажу вам. Честное слово, всё расскажу, – забормотал я. – Мне просто было стыдно, очень стыдно...

– Стыдно? – Липучка вытаращила зелёные глаза. – Разве этого можно стыдиться? Этим надо гордиться!

«Уж не укусила ли её настоящая бешеная собака? – подумал я. – Или она просто издевается надо мной?»

– Да, этим надо гордиться! – торжественно повторила Липучка. – Я выучила их наизусть!

И она вдруг стала читать стихи:

Как серебро, вода сверкает.
Мы поработали – и вот
Поплыл, торжественно качаясь,
Поплыл наш самодельный плот!
Пусть не в просторе океанском –
По руслу узкому реки,
Но есть и мостик капитанский,
И есть герои-моряки!
Пусть поскорей промчатся годы,
Мы закалимся, подрастём –
Тогда красавцы пароходы
По океанам поведём!

Липучка прочитала стихи с таким вдохновением, что я даже заслушался, прижавшись к подоконнику. Потом она взглянула на меня глазами, которые были полны, как говорится, неопишемого восторга.

– И этого ты стыдился? Этим нужно гордиться! – повторила она. – Поздравляю тебя! Поздравляю тебя, Шура! Ты – настоящий поэт!

– Я?.. Поэт?..

– Ой, не притворяйся, пожалуйста! Хватит уж скромничать, хватит! Тут же русским языком написано: «Саша Петров, Москва».

Я схватил газету – и в самом деле, под стихотворением стояла подпись: «Саша Петров». Бывают же такие совпадения!

– Я уже всем газету показала, всем! – затараторила Липучка. – Ой, какой же ты молодец! Наш плот прославил! Прямо на всю страну! Только почему ты написал «Москва»? Написал бы лучше «Белогорск». Ведь ты здесь сочинял? И даже приукрасил кое-что! Но это ничего – поэты всегда так делают. А кто это «герои-моряки»? Веник, да?.. – Липучка затрясла плечами, схватилась за живот. – Ой, а я ведь сразу заметила, что ты в рифму говорить умеешь! Ещё в самый первый день. Помнишь: «не плот, а флот», «он – не Антон»?.. А потом я заметила, что ты по утрам так задумчиво-задумчиво сидел за столом. А только я входила – и ты сбрасывал тетрадь под стол. Думаешь, я не заметила? Ты по утрам стихи сочинял? Да?.. Вот и сейчас даже тетрадка под столом валяется. В ней новые стихи, да?

Липучка, пригнувшись, бросилась к столу и схватила тетрадку. Я кинулся за ней: ведь там, в тетрадке, были советы нашей учительницы русского языка, как лучше мне подготовиться к переэкзаменовке. Я вырвал тетрадку:

– Это не стихи... Это... совсем другое...

– Ой, как же не стихи? Опять обманываешь, да?

– То есть там стихи... Но я ещё не могу их показать. Я ещё...

– Ой, покажи! Покажи! Прямо любопытно до ужаса!

– Нет-нет, – сказал я, поспешно пряча тетрадь под скатерть. – Сейчас нельзя... Я ещё не обработал как следует. Вот обработаю – и тогда обязательно прочитаю...

– Новое стихотворение, да?

Я неопределённо пожал плечами.

– Ой, понимаю! Писатели всегда много раз переписывают свои произведения. Вот Лев Толстой, например, «Войну и мир» семь раз переписывал. Я сама где-то читала...

Через секунду она пришла в восторг от нового открытия:

– Ой, Шура, а у тебя ведь и имя такое поэтическое – Александр! Как у Пушкина.

Не знаю, с кем бы ещё на радостях сравнила меня Липучка, но тут, к счастью, появился Саша.

Сашина тайна

Он был очень серьёзен. И, как всегда в такие минуты, руки заложил за спину, глядел исподлобья и нетерпеливо покусывал нижнюю губу. А говорил коротко, отрывисто, вроде бы приказания отдавал:

– Ну-ка, выйди, Липучка. Прогуляйся!

Липучка независимо устремила в потолок свои глаза и нос, усыпанный веснушками:

– А чего ты распоряжаешься в чужой комнате?.. Шура, мне можно остаться?

Я взглянул на Сашу, потом на Липучку, потом на пол и неопределённо пожал плечами.

– Секреты, да? – насмешливо спросила Липучка. – Говорите, что девчонки секретничают. А сами?

Мы с Сашей молчали.

– Значит, мне уходить, да?

– Вот-вот, прогуляйся, – с беспощадной твёрдостью произнёс Саша.

– Прогуляться? Хорошо, ладно. Я уйду... Мужчины, называется! Кавалеры! Рыцари! Мушкетёры!.. Веник бы никогда так не поступил. Потому что он действительно образованный... И очень интеллигентный. Настоящий москвич!

Это уж был выстрел в мою сторону. Боясь, что промахнулась или слишком легко ранила меня, Липучка взглянула в упор своими зелёными глазами:

– А ещё поэт! Пушкин!

Она так хлопнула дверью, что лёгкая деревянная чернильница на столе подпрыгнула и на скатерти появилось маленькое фиолетовое пятнышко – уже не первое со времени моего приезда в Белогорск.

– Зачем ты её так? – спросил я Сашу.

– Дело потому что... важное!

Так как Саша был капитаном нашего корабля, я спросил:

– Задание какое-нибудь? Приказ?

– Нет. Просьба.

– Просьба? Ко мне?

– Да, к тебе. И не перебивай. Тайну мою узнать хочешь?

Я, кажется, второй раз в жизни почувствовал, что у меня, где-то под левым кармашком, есть сердце и что оно довольно-таки сильно колотится (первый раз я почувствовал это, когда учительница объявляла фамилии двоечников, получивших переэкзаменовку).

И ещё я понял, как это верно говорят: «Он вырос от гордости!» Мне и правда показалось, что я стал чуть-чуть выше ростом.

Значит, Саша теперь доверяет мне, как самому себе! Доверяет свою тайну, такую важную, что он из-за неё даже не поехал в туристический поход! Такую важную, что она привязывает его и наш плот вместе с ним к Белогорску! И он ещё спрашивает, хочу ли я узнать её!..

– В общем, дело ясное, – сказал Саша. – У меня переэкзаменовка. Понятно?

Я как-то машинально присел на стул:

– У тебя?.. Переэкзаменовка?..

– Ага. Пишу я плохо. С ошибками. Понимаешь? Вот и схватил двойку. Поможешь, а?

– Кто? Я? Тебе?

– Да, ты мне. Ясное дело, не я тебе. Ведь ты же образованный, культурный. Поэт! Липучка сегодня уши всем прожужжала. Как она мне «Пионерку» показала, так я сразу решил: попрошу Шурку! И вот... Согласен?..

Я даже не мог неопределённо пожать плечами – так и сидел, раскрыв рот, словно рыба. И молчал тоже как рыба.

Мой вид не понравился Саше.

– Смотри, в обморок не кувырнись. Побледнел, как Веник. Не хочешь помогать – так и скажи. Без тебя обойдусь.

Тут наконец у меня прорезался голос. Правда, чей-то чужой – слабенький, неуверенный, – но всё же прорезался:

– Да что ты, Саша! Я с удовольствием... Только у меня нет... этого... как его... педагогического опыта...

– И не надо. Ты просто будешь мне диктанты устраивать и проверять ошибки. Понятно?

– Понятно...

Я буду проверять ошибки! И почему я честно, как вот Саша сейчас, не рассказал о своей несчастной двойке? Вернее, несчастная была не двойка, а я сам. Зачем я, как дурак, пожимал плечами? Эти мысли уже не первый раз приходили мне в голову. Но раскаиваться было поздно. И нужно было не выдать своего волнения.

– И это вся тайна? – с наигранным спокойствием спросил я.

– Вся.

– А я-то думал!..

– Мало ли что ты думал.

Да, я действительно думал мало, иначе не попал бы в такое глупое положение.

– И ты из-за такой ерунды не пошёл в туристический поход? И наш корабль к городу привязал? – неестественным голосом удивлялся я.

– Это не ерунда. Я должен сдать экзамен, – очень решительно сказал Саша. – Понятно? Лопну, а сдам! Осенью отец с матерью из геологической разведки приедут – я им обещал.

– А-а! Они, значит, осенью приедут? А у тебя, значит, переэкзаменовка?

От растерянности я, кажется, говорил не совсем складно.

– И ещё я Нине Петровне обещал. Учительнице нашей. Она не хотела в деревню уезжать из-за меня. А я уговорил: сам, сказал, подготовлюсь. Понятно?

– Не совсем. Она тебе двойку вкатила, всё лето тебе испортила, а ты о ней заботишься?

– Сам я всё испортил!.. В общем, согласен помочь или нет?

Я смотрел на Сашу с таким удивлением, будто он с другой планеты свалился. Защищает учительницу, которая ему двойку поставила! И от похода отказался. Станный он парень! Так мне казалось тогда.

Не дождавшись ответа, Саша твёрдыми, злыми шагами направился к двери. Что было делать? Не думая о том, как всё повернётся дальше, я догнал Сашу:

– Буду помогать тебе! Конечно, буду! Это же очень легко... и просто. Будем заниматься прямо с утра до вечера. Хочешь?

– Не хочу, а придётся, – ответил Саша.

Я становлюсь учителем

Весь следующий день я с утра до вечера овладевал своей новой профессией – готовился преподавать. И только тогда я понял, как это трудно – быть учителем. Правда, настоящим учителям всё-таки гораздо легче, чем было мне: они ведь хорошо знают то, чему обучают других. Я же собирался учить Сашу грамматике, а сам разбирался в ней не лучше, чем наш Паразит – в правилах уличного движения.

Теперь уж мне не надо было сбрасывать учебники и тетради под стол. Я мог заниматься совершенно открыто: ведь я старался не для себя, а для другого, то есть совершал благородное дело.

Дедушка, оказывается, знал о Сашиной переэкзаменовке.

– Молодец! – похвалил он меня. – Видишь, как это приятно – хорошо учиться: всегда можешь помочь товарищу.

«Сперва приналягу на правила, – решил я. – Всё-таки выдолбить и пересказать правила не так уж трудно. Начну с безударных гласных, чтобы и самому тоже польза была...»

К полудню все правила о правописании безударных гласных были выучены назубок. А как быть с диктантами? Диктовать я, конечно, смогу: слава богу, читать ещё не разучился. Но как же я буду проверять то, что написано Сашей, если сам ничего не знаю? Может быть, каждую фразу сверять с книжкой? Нет, неудобно. Саша сразу догадается, какой я грамотей. Что же делать?

В конце концов я придумал: вызубрю наизусть какой-нибудь кусочек из Гоголя. Совсем наизусть! Запомню, как пишется каждое слово и где какой знак стоит.

Я нашел свое любимое местечко из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и стал зубрить, начиная со знаменитых слов Ивана Никифоровича: «Поцелуйтесь со своею свиньёю, а коли не хотите, так с чёртом!

– О! вас зацепи только! – зубрил я дальше. – Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться.

– Позвольте, Иван Иванович: ружьё – вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное...

– Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьём, как дурень с писаною торбою, – сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.

– А вы, Иван Иванович, настоящий гусак...» – и так далее. Всегда я прямо до слёз хохотал, читая всё это. А сейчас я радовался только тому, что в отрывке было много безударных гласных. «Здорово писал Гоголь! – думал я. – Сколько безударных наставил! Прямо в каждой фразе. Вот уж попыхтит завтра Сашенька!»

Я ещё повторил отрывок вслух раза три, потом раза три переписал его, потом начал декламировать. В общем, к вечеру мне казалось, что Гоголь писал вовсе не так уж весело и что скучнее повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче ничего на свете не существует.

Лёжа в постели, я ещё раз повторил отрывок про себя. А потом припомнил всякие мудрые выражения, которые часто употребляли наши учителя. Такие вот, например: «Учись мыслить самостоятельно!», «Если хочешь что-нибудь сказать – подними руку», «Не будем тратить время – его ведь не вернешь», «Не смотри в потолок, там ничего не написано!» и т. д., и т. п. А ночью мне приснилось, что невоздержанный на язык Иван Никифорович обозвал Ивана Ивановича «безударной гласной» и что с этого именно началась знаменитая ссора.

Утром, как только умолкла дедушкина палка, начался первый урок. Саша вошёл в комнату, держа в руках толстую тетрадь в красной клеёнчатой обложке. «Неужели всю её исписать собирается?» – с ужасом подумал я.

В глазах у Саши было что-то новое, незнакомое мне до тех пор: что-то уважительное и немного застенчивое. И это у него! У капитана Саши!.. Ну да, ведь я теперь был для него не просто Шуркой, а учителем. Как пишут в газетах, «наставником и старшим другом». Все эти мысли настроили меня на строгий тон.

– Не будем терять время – его ведь не вернёшь, – сказал я. Саша покорно уселся за стол, развернул тетрадку и посмотрел на меня, ожидая новых распоряжений.

– Начнём с безударных гласных, – объявил я и зашагал по комнате, мысленно воображая, что шагаю между рядами парт. – Гласные произносятся чётко и ясно лишь тогда, когда они находятся под ударением, – объяснял я. – В безударном положении они звучат ослабленно, неотчётливо. Чтобы правильно написать безударную гласную в корне, нужно изменить слово или подобрать другое слово того же корня так, чтобы эта гласная оказалась под ударением...

– Вот, например: вода – воды, тяжёлый – тяжесть, поседеть – седенький... – насмешливым тоном продолжил мои объяснения Саша. – Так, да? Прямо по учебнику шпаришь.

Нет, он не так уж робел передо мною! В первый момент я, войдя в роль педагога, чуть было не сказал: «Хочешь что-нибудь спросить – подними руку!» Но вовремя удержался: пожалуй, Саша поднял бы руку и щёлкнул меня по затылку, чтобы сразу сбить с меня всю педагогическую важность.

– Значит, нужно слово изменить? – все так же насмешливо спросил Саша. – Вот измени, пожалуйста, слово «инженер». А? Измени.

Я стал лихорадочно соображать, но слово «инженер» никак не изменялось.

– Это исключение, – сказал я. – Нужно просто запомнить это слово – и всё.

– А тогда измени слово «директор», чтобы безударная стала ударной.

Я снова и так и сяк повертел в уме слово, предложенное Сашей. Ничего не получалось.

– Это тоже исключение, – объяснил я. – И не перебивай, пожалуйста!

– А ты не забивай мне голову всякими правилами! Я их без тебя знаю, а пишу всё равно с ошибками. Ведь на каждое правило две тысячи исключений. Давай лучше диктанты писать.

Что было делать?

– Хорошо, возьмём первый попавшийся отрывок из Гоголя, – согласился я и раскрыл «первую попавшуюся» страницу, заложённую промокашкой – уже не чистой, а с пунктирными следами букв и расплывчатыми очертаниями клякс. Я стал с выражением диктовать: «– Поцелуйтесь со своею свиньёю...»

– Сам ты поцелуйся со свиньёю, если так диктовать собираешься! – разозлился вдруг Саша.

– Так с учителями не разговаривают! – в свою очередь вспылил я.

– А что же ты каждую безударную как ударную произносишь? Прямо нажимаешь на неё изо всех сил. Сам говорил, что безударные звучат ослабленно, неотчётливо... Мне твои подсказки не нужны!

Я и в самом деле произносил каждое слово чуть ли не по складам и очень ясно выговаривал безударные гласные. Ведь мне всегда хотелось, чтобы именно так диктовали учителя.

– Ты по-человечески диктуй, – уже без всякой робости сказал Саша. Казалось, он вот-вот скажет: «А то как щёлкну!»

Тогда я стал диктовать очень быстро. Сашина ручка вновь остановилась.

– Не валяй дурака, – предупредил он. – Хочешь, чтобы я вообще ни одной буквы не разобрал? Так, что ли? Ты только одни безударные от меня прячь. Понятно?

Да, настоящим учителям и не снились, наверное, такие ученики!

Я диктовал, почти не заглядывая в книжку: весь отрывок был вызубрен наизусть. Саша удивился:

– Ты всего Гоголя, что ли, наизусть знаешь?

– Ну, не всего, конечно, – скромно ответил я. – Но довольно значительную часть его произведений...

Сам того не замечая, я стал изъясняться как-то по-взрослому: ведь я всё-таки был педагогом!

– Валяй дальше! – распорядился Саша.

Но вот я добрался до конца и сказал:

– Хватит! Давай проверим! – А сам подумал: «Сейчас начнёт спорить. Скажет: диктуй дальше. А я дальше не выучил».

Но Саша покорно протянул мне тетрадь. Проверял я очень медленно, про себя повторяя текст и по буквам вспоминая, как написано каждое слово в книжке.

Проверив слово, я машинально подчёркивал его, как это делала телеграфистка, когда подсчитывала стоимость телеграммы.

Заметив, что я всё время подчёркиваю, Саша заволновался:

– Неужели столько ошибок?

– Да нет... Я просто так, для себя.

На самом деле ошибок было всего пять. Я позавидовал Саше: ведь вчера, впервые переписывая этот отрывок на память, я сделал гораздо больше ошибок.

«Саша пишет в два раза лучше меня – и всё-таки у него двойка, – подумал я. – Значит, если я буду делать ошибок вдвое меньше, чем сейчас, я всё равно не сдам переэкзаменовку...» От этих мыслей лицо у меня стало такое печальное, что Саша даже насторожился:

– Очень плохо, да?

– Да нет, вполне сносно, – ответил я. Взял ручку и вывел под Сашиним диктантом чёткую, с острыми углами четвёрку, похожую на недописанную букву «Н».

– Уж очень ты добренький, – усмехнулся Саша. Он ведь не знал, что это была моя давнишняя мечта: чтобы за пять ошибок ставили четвёрку.

Я вздохнул так облегчённо, как вздыхал в классе, услышав спасительный звонок, избавлявший меня от вызова к доске. «Слава богу, первый урок кончился!» – подумал я.

Но не тут-то было! Саша вдруг стал выпытывать у меня, почему трудные слова пишутся не так, как произносятся. Начал он со слова «поцелуйтесь».

В школе учительница часто говорила мне: «Петров, ты совсем не умеешь анализировать слова». Но умел я или не умел, а тут уж надо было анализировать. Сперва я старался изменить слово так, чтобы на первый слог «по» падало ударение. «Поцелуй, поцеловаться...» – шептал я про себя. Но ударение никак на «по» не попадало.

Тогда я подумал: «А что вообще такое это самое „по“?» И вдруг меня осенило: так это же приставка! Ну да, самая настоящая приставка. А ведь приставки «па» вообще не существует на свете. Это только в танцах бывают разные па, а приставок таких не бывает.

Значит, всё очень просто. Я объяснил это Саше.

– Ага... Интересно, – сказал он. И что-то записал в тетрадку, словно отметку мне выставил. – А скажи-ка, пожалуйста, почему пишется «свинья», а не «свенья»? Не знаешь?

– Так ученики вопросов не задают! – возмутился я. – Похоже, что я из детского сада только что пришёл, а ты уже какой-нибудь десятиклассник и экзамен мне устраиваешь.

Но, сказав про детский сад, я сразу вспомнил стихи Маяковского, которые мы там учили наизусть: «Вырастет из сына свин, если сын-свинёнок...» Эти стихи я тут же прочитал Саше.

– Раз «свин» – значит, «свинья», – объяснил я.

– Ага, – снова сказал он и снова записал что-то в тетрадку. В общем, не зря я накануне зубрил правила. И вовсе не из одних только «исключений» русский язык состоит. Напрасно Саша о нём такого мнения!

С тех пор мне очень понравилось «анализировать» слова. Как только услышу какое-нибудь трудное слово, так сразу начинаю разбирать его. И очень часто оно оказывается вовсе не таким уж трудным.

Но и на разборе слов тот первый урок не окончился. Ведь в нашем «классе», к сожалению, распоряжался не учитель, а ученик.

– Давай-ка теперь я подиктую, – сказал Саша и поднялся со стула, уступая мне место. Но я садиться на это место вовсе не хотел.

– Ты? Мне?! Будешь диктовать?!

– Ага. Я! Тебе! Буду диктовать! – передразнивая меня, ответил Саша.

– Зачем же терять время? Его ведь не вернёшь!

Но мои «педагогические» фразы на Сашу не действовали.

– Диктовать тоже очень полезно, – объяснил он. – Это мне сама Нина Петровна советовала. Она-то уж лучше тебя понимает. «Когда, говорит, диктуешь, очень внимательно вглядываешься в каждое слово». Понятно?

Спорить с Ниной Петровной было опасно. И я, как утопающий за соломинку, схватился за отрывок из Гоголя. Ведь я знал его наизусть.

– Хорошо, успокойся. Никто с твоей учительницей не спорит. Диктуй мне, пожалуйста, первый попавшийся отрывок. – Я взял томик Гоголя. – Вот, например, со слов: «Поцелуйтесь со своею свиньёю...»

– Что это тебе всё время одно и то же место случайно попадает? – удивился Саша.

«Сейчас обо всём догадается!» – испугался я и с самым независимым видом произнёс:

– Диктуй откуда хочешь. Хоть из «Носа»! Хоть из «Записок сумасшедшего»!

– Да, одно и то же по два раза читать неинтересно, – сказал Саша. – Я что-нибудь другое найду.

Он стал перелистывать страницы, а я от предчувствия своего полного краха, кажется, побледнел, присел на стул и дрожащими пальцами взялся за ручку.

Саша между тем рассуждал:

– У нас вот теперь сборники какие-то однообразные выходят. Если весёлый – то хохочи всё время, пока живот не заболит. А уж если мрачный, так тоже до самого конца... Поседеть можно! А у Гоголя, смотри, как все разнообразно. Вот Иван Иванович с Иваном Никифоровичем ругаются... Смешно, да? А рядом, на сто девяносто первой странице, «Вий». Мороз по коже продирает! Прочтёшь сборник – и посмеёшься, и поплачешь... Так гораздо интереснее получается. Вот я тебе сейчас из «Вия» подиктую. Самое страшное место!

«Пусть диктует, – подумал я. – Скажу потом, что со страху ошибки насажал. Ничего, мол, не мог сообразить от ужаса. Затмение мозгов произошло. Сила художественной литературы!...»

– Значит, описание Вия, – сказал Саша. – Понятно? Пиши. Только я медленно буду диктовать, чтобы в каждое слово вглядываться... «Весь был он в чёрной земле... Как жилистые крепкие корни, выдавались его засыпанные землёю ноги и руки...»

– Ой, неужели так прямо и написано: «весь был в земле»?! – воскликнул я.

– Прямо так и написано. Не веришь – посмотри!

Это мне только и нужно было.

Я, словно бы не доверяя Саше, схватил книжку и прочитал всё, что там было насчёт земли. Ну конечно, уж заодно и безударные гласные разглядел.

– Да, действительно так... Скажи пожалуйста, какой ужас!

Я уселся на место и тут же записал прочитанные фразы.

– «Длинные веки опущены были до самой земли», – читал дальше Саша.

– Ой, неужели прямо до самой земли? – снова поразился я. – Так и написано?

Я снова вскочил со стула и заглянул в книжку.

– «С ужасом заметил Хома, что лицо было на нём железное...» – медленно, будто заучивая наизусть каждое слово, диктовал Саша.

– Ой, неужели такой страшный? Лицо железное?!

Я вскочил в третий раз и, трясаясь от ужаса, выхватил у Саши синий томик. А сам с надеждой подумал: «Так я, пожалуй, весь диктант без единой ошибочки напишу!»

Но не тут-то было. Саше мои вскакивания со стула надоели.

– Что ты все время ойкаешь, как Липучка? – сердито спросил он. – А ещё говорил, что всего Гоголя наизусть знаешь!

– Конечно, знаю... – залепетал я. – Но классика, понимаешь, так прекрасна, что каждый раз кажется, будто читаешь впервые.

Саша поморщился: он не любил громких фраз.

– Ладно... Сиди спокойно – и всё. Если ещё раз вскочишь, как щёлкну по затылку! Понятно?

Понять это было нетрудно. Я продолжал писать диктант.

– Во как Гоголь умел страх нагонять! – не удержался Саша. – У тебя прямо руки трясутся от ужаса.

Если бы он знал, отчего у меня тряслись руки!

Кончив читать про страшного Вяя, Саша сказал:

– Ну, вот и всё!

«Да, вот и всё! Крышка!» – подумал я и протянул Саше свои каракули. Но он отмахнулся от моей тетради, схватил жестяную кружку и стал постукивать по ней чайной ложечкой, точно так же, как это делал я, когда раньше, давным-давно, играл с бабушкой «в трамвай».

– Звонок! Звонок! Урок окончен! – провозгласил Саша. – Проверять я тебя не буду. Зачем?

– Конечно... не надо... – запинаясь от радости, сказал я. «Спасён! Спасён!!!» И добавил: – У меня ещё и почерк жуткий... Я ведь внук доктора! Понимаешь? Ничего разобрать нельзя!

– Ясное дело, смешно будет, если я вдруг стану тебя проверять, – сказал Саша.

– Факт, смешно, – согласился я.

На самом деле это было бы не смешно, а очень грустно. Я поскорей спрятал свой диктант в ящик дедушкиного стола. «Потом сам проверю», – решил я. И ещё я подумал о том, что теперь мне нужно будет каждый день вызубривать наизусть не один, а целых два диктанта.

«Неистребимый»

Итак, мы стали заниматься. Занимались мы в любую погоду и даже в такие дни, когда с утра, как бы испытывая нашу волю, всюю слепило солнце. В небольшой комнатке было душно, и прямо до смерти хотелось искупаться. Мою волю солнце, конечно, растопило бы в два счёта, но, к счастью, рядом был Саша. А он даже выглядывать в окно не разрешал, чтобы не соблазняться видом Белогорки.

Как-то однажды, не вытерпев, я предложил заниматься по вечерам, после пяти часов. Но Саша обозвал меня «тряпкой» и сказал, что в древней Спарте таких, как я, сбрасывали с обрыва в реку. (Я бы, честно говоря, не отказался, чтобы меня в ту минуту сбросили с холма в Белогорку.) И ещё он сказал, что заниматься нужно только по утрам, потому что утром голова свежая. Спорить со своим учеником я не решался.

Все кругом хвалили меня, говорили, что я «настоящий пионер», потому что жертвую своим отдыхом ради товарища. «Ой, ты прямо до ужаса благородный! Настоящий рыцарь!» – говорила Липучка, по доброте душевной забыв, как мы с Сашей совсем не по-рыцарски выставили её из комнаты. И даже тётя Кланы однажды вынесла мне благодарность.

Вообще-то я избегал встречаться с тётей Кланей, потому что она, как, бывало, увидит меня, так сразу начинает сравнивать с Маришкой, то есть с моей собственной мамой. «Да, – говорила она, – Маришка-то поздоровее была...», «Да, Маришка-то как угорелая по улицам не носилась!» Я, конечно, понимал, что не стою маминого мизинца, что все прекрасные мамины качества, к сожалению, не перешли ко мне по наследству... Но вот я дождался похвалы и от тёти Кланы.

– Да, – сказала она, – Маришка тоже всегда хорошо училась. В этом ты похож на неё... («...как раз меньше всего», – мысленно, про себя, закончил я фразу тёти Кланы). Если вытянешь моего Сашку, спасибо тебе скажу. И Саша скажет.

«Кто кому должен будет сказать спасибо, это ещё большой вопрос», – подумал я. Кстати, Саша был единственный, кто ни слова не говорил о моём благородстве и продолжал командовать мною так, словно учителем был не я, а он.

Занимались мы всегда часов до пяти. В это время как раз приходил Веник. Саша мазал ему живот йодом, и мы все вместе бежали к своему плоту на Белогорку. Там нас уже поджидали Липучка и старый, вечно сонный шпиц Берген.

Впрочем, наш плот был уже не плотом и не океанским пароходом, а спасательным судном и носил очень оригинальное имя – «Хузав». Название это придумал Саша; в расшифрованном виде оно обозначало «Хватай утопающего за волосы». Мы все назывались теперь «хузавами». Слово это звучало довольно-таки необычно и было похоже на название древних ископаемых животных – всяких там ихтиозавров и бронтозавров.

Саша ещё в самый первый день нашего знакомства сказал, что на плоту необязательно плыть куда-нибудь далеко, за тридевять земель, что плот может приносить пользу и здесь, в Белогорске. И вот, поскольку Белогорка была коварной рекой, мы решили на своём плоту спасать утопающих.

Но утопать, к сожалению, никто не собирался. «Дикари», напуганные рассказами о воронках, ямах и холодных течениях, купались очень осторожно. Они, как правило, заходили в воду по пояс и начинали, радостно повизгивая, плескаться, словно сидели в корыте или в ванне.

Если же кто-нибудь всё-таки доплывал до середины реки, мы тут же устремлялись на помощь. Саша с капитанского мостика приказывал мне приступать к спасательным работам. Я спускал на воду длинный шест. Но «утопающие» вместо благодарности кричали, чтобы мы перестали хулиганить и швырять в них грязными палками.

Только один раз нам пришлось спасти по-настоящему. И то члена своего собственного экипажа – рядового матроса Веника.

Веник вздумал, расхаживая на плоту, читать журнал. Он сделал пять шагов по палубе и... шагнул прямо в реку. Мы даже испугаться не успели, как увидели в реке сразу три плавающих предмета: голову Веника, белую, распластавшуюся как блин панаму и журнал... Была бы тут Ангелина Семёновна!..

Я слышал и даже читал где-то, что, если человека, не умеющего плавать, завести в самое глубокое место и спихнуть в воду, он, спасая свою жизнь, обязательно поплывёт. Мы были на самой середине реки, вода здесь была тёмная, почти чёрная (это указывало на большую глубину), но Веник почему-то не поплыл. Он молча цеплялся за брёвна. Наш «Хузав» наклонился, котелок, в котором главный кок Липучка варила картошку, тоже полетел в воду и сразу пошёл измерять глубину. Саша спрыгнул со своего капитанского мостика.

– Котелок утонул, – зачем-то сказал я. Наверное, от растерянности.

– Жаль, что твой собственный котелок на месте остался! Не мог удержать Веника! Ведь рядом стоял...

И, пригнувшись, сложив руки над головой, Саша прямо в майке и тапочках бросился в воду. Он обхватил Веника и без всякого напряжения стал выталкивать его из воды на плот. Веник вообще был очень лёгкий, а в воде-то, уж наверное, совсем ничего не весил. И всё-таки он не сразу вскарабкался на плот.

– «Вокруг света!» «Вокруг света!» – умоляюще вскрикивал Веник, не желая спасаться, пока не спасут его журнал.

– Ничего, пусть поплавает вокруг света. Лезь на палубу! – скомандовал Саша, не выпуская Веника, бережно обхватив его руками, словно какую-нибудь драгоценную статую или вазу.

Я шестом подогнал «Вокруг света» к плоту и вытащил намокшие, слипшиеся в одну тяжёлую массу листы.

– Очень благодарен тебе, Шура, – произнес Веник и, подталкиваемый сзади Сашей, полез на «палубу».

«Ишь ты, „очень благодарен“! – подумал я. – Даже сидя в воде, не может сказать просто „спасибо“. Какая сверхвежливость!»

Я стал подгонять к плоту распластанный на воде белый блин, который ещё недавно служил Венику панамой.

– Да ну её! Не надо её... – Веник не договорил, зубы у него вдруг застучали, а всё тело покрылось гусиной кожей. Только теперь он, видно, понял, как велика была опасность, и задним числом испугался.

По Сашиному знаку мы всеми шестью руками схватили «утопленника» и подняли его в воздух. Мы действовали по всем правилам: раскачивали Веника, растирали его... Он потихоньку отбрыкивался, но и тут не терял своей вежливости: заикаясь и дрожа, он объяснял, что мы «неразумно тратим силы».

– Ой, как же «неразумно»? – воскликнула Липучка. – Мы из тебя воду выкачиваем!

– Зачем же? У меня вполне нормальное состояние, – интеллигентно возразил Веник, взлетая к капитанскому мостику.

Мы, однако, не обращали на слова «утопленника» никакого внимания.

– Все сумасшедшие говорят, что они нормальные, а больные притворяются здоровыми, – сказал я и нажал Венику на живот, чтобы выдавить воду.

Тут он от боли впервые потерял всю свою вежливость и крикнул:

– Сам ты сумасшедший!

Мы, поражённые такой необычной для Веника грубостью, сразу кончили «спасательные работы», положили «утопленника» на «палубу» и поздравили его со спасением. Но

он несколько минут не шевелился. Кажется, именно сейчас, после наших «спасательных работ», ему нужна была настоящая медицинская помощь...

В тот же день наш плот перестал быть спасательным судном.

– Он будет пограничным сторожевым катером! Понятно? – сказал Саша. – Белогорка будет пограничной рекой, а мы с вами начнём вылавливать нарушителей.

Нужно было придумать катеру какое-нибудь боевое и оригинальное имя.

– «Ласточка»! – предложила Липучка.

– Ну да, ещё воробьём назови! – усмехнулся Саша. – Или канарейкой!

– «Верный, недремлющий страж», – предложил Веник.

Но Саше и это не понравилось.

– Ты бы ещё в две страницы название придумал! Надо, чтобы коротко было, в одно слово. Вот, например: «Неистребимый»!

Это имя все приняли единогласно.

Я захотел устроить ребятам сюрприз. Поздно вечером я тайком пробрался к плоту и написал углём на ящичке из-под рафинада, то есть на капитанском мостике, название нашего катера. «Вот уж завтра глаза вытаращат! Вот уж удивятся!» – подумал я. И отправился спать.

...Первым удивился Веник:

– Любопытно, какой это грамотей нацарапал? «Неистребимый»! Надо же так!

– Ну и что? – не понял я.

– Между «р» и «б» должно стоять «е», а тут – «и». Уразумел?

Да, я сразу всё уразумел. И вслух предположил:

– Какой-нибудь посторонний человек написал.

Веник пожал своими плечиками:

– Загадочно! Никто из посторонних, кажется, не в курсе того, как называется наш катер.

– Подслушал – и узнал. Подумаешь, «не в курсе»! Один ты в курсе, да? – набросился я на Веника. А про себя подумал: «Какое счастье, что Саша не проверяет мои диктанты и не знает моего почерка!» И ещё я подумал, что надо заниматься теперь гораздо больше.

С того дня мы стали писать диктанты не только по утрам, но и по вечерам – как говорится, на сон грядущий. А по ночам мне ещё чаще стали сниться хороводы орфографических ошибок и двойки с ехидными закорючками.

«Нарушителей границы» мы искали главным образом в воде. Всех незнакомых нам мальчишек мы вытаскивали из реки на свой «катер» и требовали предъявить документы. «Нарушители» были или совсем голые, или в одних трусах, и потому документов у них не оказывалось.

– Странно, странно... – говорил Саша. – Как это вы пускаетесь в плавание без документов?

«Нарушители» смотрели на нас как на сумасшедших. И я сам, между прочим, думал, что всё это – пустые игры и что из-за наших с Сашей переэкзаменовок мы так и не сможем использовать свой плот по-настоящему, для какого-нибудь важного дела.

Однажды ночью...

Никогда я не забуду эту ночь.

Вечером мы с Сашей подиктовали друг другу. Я снова вслух погоревал о том, что из-за Сашиной переэкзаменовки (о своей собственной я, разумеется, только подумал) мы никак не можем использовать свой плот. Саша стал произносить всякие благородные фразы, вроде того что никто не должен страдать из-за его двойки и что мы можем плыть без него куда нам угодно.

Тогда и я тоже стал бить себя кулаком в грудь: никогда, мол, не оставлял и не оставлю товарища в беде!

По ступеням застучала палка: дедушка вернулся с вечерней прогулки. Иногда он возвращался гораздо позже, потому что его прямо на улице перехватывали и зазывали к себе пациенты: то послушать сердце, то проверить лёгкие, а то просто попить чайку.

Мы с Сашей простились до утра, не подозревая, что увидимся гораздо раньше.

А ночью вдруг затрещонил жёлтый ящик с ручкой на боку, похожий на кофейную мельницу. Такой у дедушки был телефон.

Он будил нас не впервые: дедушку и по ночам вызывали в больницу или, как он говорил, «на трудные случаи». Дедушка всегда полуслёпотом отвечал в трубку:

– Еду. Ну какой может быть разговор!

На самом деле ему приходилось не ехать, а идти, потому что машины у него не было. Ботинки дедушка в таких случаях натягивал в последнюю очередь и уже за дверью, а палка его не пересчитывала ступени. Неужели он думал, что я сплю и ничего не слышу?

На этот раз дедушка долго не отходил от жёлтого ящика.

– Так-с... Прескверное положение, – тихо говорил он в трубку. – До Хвостика я буду часа полтора добираться. Это если в обход, по дороге... Да что вы! Откуда сейчас машина? По реке, правда, куда быстрее... Да нет у меня персонального парохода...

Я так стремительно вскочил со своей раскладушки, что ножки, которые были прямо под моей головой, подвернулись, потянули к себе остальные две пары ножек – и раскладушка сама собой стала складываться.

– Есть пароход! Есть, дедушка! Есть!.. – завопил я. От неожиданности дедушка выронил трубку, она заболталась на шнуре, заколотилась о стенку.

– О чём ты? Какой пароход? – шепотом, словно всё ещё боясь разбудить меня, спросил дедушка.

– Наш пароход! Наш катер «Неистребимый»!

Дедушка повернулся и стал шарить руками по стене, искать трубку. Наконец нашёл её и прошептал:

– Подождите минутку. Я тут улажу семейные дела... – Он зажал трубку ладонью и обратился ко мне: – Переутомился ты, что ли? Перезанимался с Сашей? Или, может быть, на солнце перегрелся?

– Я не перегрелся, дедушка. У нас есть пароход. Честное слово, есть!

– Пароход? Вообразите, какую чепуху мелет! – Как всегда в минуты волнения, дедушка обращался к кому-то третьему, как бы незримо присутствующему в комнате. – Какие судовладельцы нашлись!

– Ну, в общем, это мы его так называем... пароходом. А на самом деле это плот. Мы сами построили, честное слово!

– Ах, плот? Так бы сразу и сказал. – Дедушка разжал руку и склонился над трубкой: – Здесь как будто намечается выход. Я приеду... Ну какой может быть разговор!

Мне очень хотелось самому, без всякой посторонней помощи, перевезти дедушку в заречную часть города, называемую Хвостиком. Это был бы подвиг! О нём могли бы написать в газете, о нём узнали бы все! И тётя Кланы узнала бы. И тогда, может быть, она признала бы наконец, что я достойный сын своей мамы.

Но тут же я подумал, что Саша, наверное, никогда бы не уплыл без меня.

– Поскорей, – предупредил дедушка. – Дорога каждая минута. Я пока буду спускаться к реке. А то ведь мы с ней медленно ходим. – Он погладил похожую на крендель ручку своей самодельной палки, – Догоняйте меня!

Я уже был внизу, когда дедушка стуком палки остановил меня.

– Поосторожней! – крикнул он, прикрывая рот ладонью. – Клавдия Архиповна под кроватью дубину для воров держит!

Я не боялся дубины тётки Кланы, потому что хорошо знал, возле какого окна стоит Сашина кровать.

Прежде чем забраться на подоконник, я секунду поразмыслил: «Как разбудить Сашу, чтобы он не испугался и не закричал со сна? Может быть, сперва зажать ему рот? Хотя Саша не закричит, он ведь не какой-нибудь Веник».

Я смело вскарабкался на подоконник и увидел, что Саша не спит: он приподнялся на локте и чуть-чуть наклонил голову, к чему-то прислушиваясь.

Не успел я вслух удивиться, как Саша преспокойным шёпотом спросил:

– Что там случилось?

– Ты всю ночь не спишь, что ли? – спросил я.

– Да нет, просто слышал, как ты соскочил с крыльца. У дедушки Антона совсем не такие шаги. Что случилось?

– Очень важное дело! Понимаешь, заболел один человек. Очень тяжело... На Хвостике. Мы должны перевезти дедушку. На плоту!.. Пешком идти очень долго. У него ещё и ноги болят... А по реке же в три раза быстрее!

Пока я всё это объяснял, Саша натянул майку, тапочки и оказался рядом со мной на подоконнике.

Дедушку мы догнали на полдороге. Он шёл не своей обычной неторопливой походкой, какой ходил во время прогулок, а быстрыми и резкими шагами. Спина его всё время напряжённо вздрагивала: нелегко доставался ему каждый быстрый шаг.

Дедушка бормотал себе под нос:

– Ведь предупреждал, кажется... Сколько раз предупреждал! Как маленький!.. Как ребёнок... Со смертью играет. Так-с...

«Кого это он пробирает?» – не понял я.

Мы прошли мимо зелёного шалаша. Но старый шпиг Берген даже не твякнул.

– Часовой! – усмехнулся Саша. – Бдительный страж! Дрыхнет себе, как медведь в берлоге.

Подгонять плот к самому берегу не было времени. Дедушка, не раздумывая, присел на камень, скинул ботинки, носки, засучил брюки. Затем он взял в каждую руку по башмаку, палку засунул под мышку и смело пошёл по воде. Мы с Сашей торопливо зашлёпали сзади. На плот дедушка тоже взобрался легко – по крайней мере, быстрее, чем взбирался Веник.

Мы усадили дедушку на маленький ящичек, на котором обычно сидела Липучка, когда разжигала костёр, варила суп или картошку. Я вытащил из воды якорь, и мы с Сашей изо всех сил приналегли сразу на два шеста. «Неистребимый» рванулся с места.

Посреди реки пролегла золотая, словно песчаная, дорожка – это луна освещала наш путь. Берега, которые днём были такими весёлыми, зелёными от травы и пёстрыми от цветов, сейчас казались мрачно насупившимися. И такой же мрачной, таинственной громадой

возвышался наш холм. Казалось, что какое-то гигантское чудовище разлеглось на берегу и подняло вверх свою острую морду.

Как два глаза, светились где-то высоко два окна.

– Наверное, там больные, – сказал я.

Мне всегда казалось, что за окнами, не гаснущими в ночи, мучаются больные люди. Дедушка сидел ссутулившись, опершись на палку. Карманы брюк и пиджака топорщились от разных пузырьков и инструментов. Немного в стороне нос к носу стояли ботинки. Услышав мои слова, дедушка очнулся, приподнял голову.

– Нет, это не больные, – сказал он. – Справа – отделение милиции, а слева... Не знаю... может, кто-нибудь к экзаменам в институт готовится.

«Или к переэкзаменовке зубрит», – тут же подумал я. Мне показалось, что и Саша подумал то же самое. Спорить с дедушкой было смешно: он ведь знал всех больных в городе.

Окраина, именуемая Хвостиком, спала мёртвым сном: ни шороха, ни звука, ни скрипа. На всём берегу светилось одно-единственное окно.

– Там он лежит, – уверенно сказал дедушка. Поднялся и указал палкой на немигающий и вроде бы зовущий нас огонёк.

В пути, работая шестом, я фантазировал, будто золотистая дорожка посреди реки проложена кем-то специально от города до Хвостика. Но она не сворачивала к нему, а, дрожа и переливаясь, убегала вперёд, куда-то далеко-далеко...

Я бросил якорь, и мы во главе с дедушкой зашлёпали к берегу. Тут я понял, что ночью по огонькам никак нельзя определить расстояние.

Издали казалось, что огонёк на берегу. Но в действительности он светился на самом конце Хвостика. «А вообще-то какая хорошая, добрая вещь эти ночные огоньки! – подумал я. – Они ведь, наверное, так облегчают дальний путь: всё время чудится, что цель уже близка, и шагать веселее».

Возле маленького одноэтажного домика, остроконечной крышей своей напоминавшего часовенку, нас поджидал невысокий, очень широкоплечий мужчина в белой рубашке, которая, кажется, не сходилась у него на груди. Лица я в темноте не разглядел.

– А-а, приехали!.. Приехали!.. – взволнованно забасил мужчина. Голос у него прерывался, и мне было странно, что такой здоровяк может так волноваться. – С братом у меня плохо... Очень плохо, доктор, – сказал мужчина. – Вы ведь его как-то смотрели...

– Да, очень внимательно изучал вашего братца. И даже прописывал ему кое-что. Да, вообразите, прописывал! Но он-то, наверное, рецепты мои по ветру развеял: не верит ведь в медицину. А? Ведь не верит? – Дедушка говорил с успокоительной шутливостью в голосе. Он как будто даже не спешил в комнату к больному, давая этим понять, что не ждёт ничего угрожающего.

И это подействовало на мужчину. Голос его перестал дрожать.

– Как же вы добрались? Жинка встречать вас пошла на дорогу. Неужели проглядела?

– Вообразите, я сам виноват, – развёл руками дедушка. – Сказал – приеду, а на чём именно, спросонья не сообщил. Ребята вот на плоту меня доставили.

Мужчина хотел в знак благодарности пожать ему руку, но обе руки у дедушки были заняты ботинками. Он так и вошёл в комнату, держа их впереди себя. Это было смешно, необычно и как-то сразу подняло настроение.

Мы с Сашей тоже вошли в домик – и я замер на пороге.

У стены на узкой кровати, не умещаясь на ней (одно плечо было на весу), лежал Андрей Никитич. Лицо у него было серое, с каким-то синеватым оттенком, как тогда, в поезде, хотя здесь и не было синей лампы. Так вот как он близко от нас! Совсем близко...

– Андрей Никитич! – не удержавшись, вполголоса сказал я.

Андрей Никитич не услышал меня. Но дедушка быстро обернулся. Лицо у него было уже не спокойное, а сердитое, сосредоточенное.

– На улице подождите, молодые люди, – сказал он так, будто не знал наших имён и вообще был незнаком с нами.

Потом он поставил свои башмаки возле кровати, словно они принадлежали тому, кто лежал на ней. И, как будто желая поздороваться с Андреем Никитичем, взял его за руку. Но не поздоровался, а, весь обратившись в слух и шевеля губами, стал считать пульс.

Мы с Сашей вышли на улицу. Дедушка в ту ночь казался нам самым могучим человеком на земле, от которого зависели жизнь и смерть, горе и радость.

Мы так боялись помешать дедушке, с таким нетерпением ждали его выхода, что Саша даже не поинтересовался, кто такой Андрей Никитич и откуда я его знаю.

А я сам не стал об этом рассказывать.

Я вспомнил, как Андрей Никитич, стоя у открытого окна в коридоре вагона, сказал: «Врачи советуют лечиться, в санаторий ехать. А я на охоту да на рыбалку больше надеюсь. Вот и еду... Если не вылечусь, перечеркнут мои боевые погоны серебряной лычкой – и в отставку. А не хочется мне, Сашенька, в отставку, очень не хочется...»

Я вспомнил эти слова Андрея Никитича очень точно, и голос его вспомнил, и тяжёлую, задумчивую походку...

«Почему же вы не поверили врачам, Андрей Никитич? Почему?» – подумал я.

Когда волнуешься или чего-нибудь ждёшь, время тянется очень медленно, потому что думаешь всё время об одном, не отвлекаешься, ничего кругом не замечаешь – и каждая секунда на счету.

Дедушка вышел на улицу тихо, всё так же держа в руках свои ботинки. Тихо вышел из комнаты и брат Андрея Никитича. В ту же минуту откуда-то из темноты появилась женщина в сарафане и с растрёпанными волосами, которые в беспорядке падали ей на плечи.

– Ну как он? Как он? – не то заговорила, не то зарыдала она. – А я стою на дороге, стою... Все глаза проглядела. Ну как он, доктор?

Дедушка опять спокойно и даже чуть-чуть насмешливо ответил:

– С лежачим-то с ним легче будет. Теперь уж он обязан подчиняться. А то ведь не сладишь с ним! Артиллерия, говорит, медицине неподвластна... – Внезапно дедушкин голос изменился – стал натянутым, сухим: – А могло быть худо. Совсем худо. Если бы вот не их плот!

Дедушка кивнул в нашу сторону.

Неожиданный экзамен

В конце концов Веник всё-таки засыпался. Однажды Ангелина Семёновна, обеспокоенная его долгим отсутствием, совершила налёт на поликлинику и всё узнала. Она выяснила, что Веник уколов не делал и что сейчас их делать уже поздно, потому что если собака была бешеная, так и Веник в ближайшие дни непременно должен взбеситься.

Ангелина Семёновна уложила Веника в постель, хотя никто ей этого не советовал. Она не выпускала его из дому, чтобы он опять не попал под влияние «подозрительной компании» – так она называла Сашу, Липучку и меня.

Считая первым и самым главным признаком бешенства водобоязнь, Ангелина Семёновна заставляла Веника выпивать в день по десять стаканов чаю и съедать по три тарелки супа, а когда он отказывался, она начинала ломать руки и кричать:

– Скажи мне правду, Веник! Скажи маме правду! Тебе страшно смотреть на суп, да? Страшно? А что ты испытываешь, когда я наливаю тебе чай?

– Меня тошнит, – отвечал Веник.

– Ну вот! Конечно! Все признаки налицо! – восклицала Ангелина Семёновна.

А Веника тошнило просто потому, что она сыпала в чай слишком много сахара: по её сведениям, это обостряло умственную деятельность.

Но Веник уже не мог без нас. И вот, когда дней через десять дедушка впервые разрешил нам навестить Андрея Никитича, Веник удрал из дому, прибежал на берег Белогорки и отплыл вместе с нами на борту «Неистребимого».

На этот раз мы плыли к Хвостик утру. И снова среди реки была золотистая, словно песчаная, дорожка, но только не лунная, а солнечная. И снова она никуда не сворачивала, а бежала себе всё прямо и прямо, далеко-далеко...

Красота летнего утра настроила Липучку на поэтический лад, и она стала требовать, чтобы я прочитал свои новые стихи, которые были в той самой тетрадке под столом. Я отбивался как мог, говорил, что стихи ещё не закончены. Меня поддержал Веник. Он авторитетно заявил, что поэты никогда не читают «недоработанных произведений».

И тогда Липучка отстала.

Андрея Никитича мы нашли не сразу. Днём все дома были похожи друг на друга, а огонька, который тогда, ночью, звал нас и указывал путь, сейчас уже не было. Нам помог Саша. Он вспомнил, что в ту ночь сильно ушиб ногу, наткнувшись на брёвна, сложенные возле самого дома Андрея Никитича. Сгоряча он даже не почувствовал боли, а потом палец у него покраснел, вздулся. Саша и сейчас ещё слегка прихрамывал. Мы разыскали брёвна и квадратный домик, похожий на часовенку. Андрей Никитич был один: «женщина с растрёпанными волосами», которая, оказывается, была женой его брата, как раз недавно ушла на базар.

Андрей Никитич нам очень обрадовался. Но дедушка предупредил нас, что больному нельзя много разговаривать, и потому мы все кричали в четыре голоса: «Не разговаривайте, Андрей Никитич! Не разговаривайте! Мы вас не слушаем, не слушаем!..» И затыкали уши. В конце концов он смирился и сказал:

– Хорошо, давайте будем смотреть друг на друга.

И мы стали смотреть: он на нас, а мы на него.

Дедушка говорил, что он лучше всего определяет самочувствие больных по глазам. У Андрея Никитича глаза были живые, лукавые – значит, дело шло на поправку.

Мы помолчали минут пять. Потом Андрей Никитич, как ученик в классе, поднял руку и глазами дал понять, что просит слова.

– Говорите! – разрешил Саша таким тоном, каким он командовал нами с капитанского мостика.

– У меня вот просьба есть к Саше, – робко проговорил Андрей Никитич.

– Ко мне? Понятно. – Саша поближе подошёл к кровати.

– Да нет, не к тебе.

– А меня, Андрей Никитич, тут в Шуру переименовали, – сообщил я.

– Переименовали? Кто же, интересно?

Я кивнул на Сашу.

– А почему ты его самого не переименовал?

Я неопределённо пожал плечами:

– Да не знаю... Он сказал мне: «Будешь два месяца Шурой». И я послушался.

– Послушался? – Андрей Никитич с уважением взглянул на Сашу. – Люблю мальчишек, которых слушаются. А просьба у меня всё-таки к бывшему Саше, то есть к теперешнему Шуру.

Андрей Никитич сказал это таким тоном, что наш воспитанный Веник сразу всё понял.

– Саша, Липучка! – сказал он. – Пойдёмте подышим свежим воздухом.

– Нашёл работу! Свежим воздухом дышать! – усмехнулся Саша. – Давайте уж лучше воды натаскаем. Я заметил в сенях пустые вёдра.

Ребята зазвенели вёдрами. А у меня, наверное, был до глупого гордый вид: сам подполковник-артиллерист с просьбой обращается! Но что же это за просьба такая?

– Просьба ерундовая. Пустяк, – сказал Андрей Никитич. – Письмо надо домой написать. А дедушка твой писать запрещает. Так я продиктую тебе. Идёт?

Мне показалось, что из двери, которую ребята оставили открытой, сильно дует и вообще в комнате холодно.

Но Андрей Никитич был всё-таки очень хорошим человеком: письмо он продиктовал короткое, и слова в письме были не такие уж трудные. Я сейчас точно не помню, о чём именно было письмо. Очень волновался, когда писал, потому и не запомнил. На содержание я не обращал никакого внимания, а на одни лишь безударные гласные.

И ещё хорошо помню, что были в письме такие фразы: «Доктор говорит, что теперь у меня один маршрут – в санаторий... Меня навещает один мальчик, который приехал к своему дедушке, и его товарищи...» Слова «маршрут» и «к дедушке» Андрей Никитич, конечно же, вставил нарочно.

И я написал эти слова так чётко, так ясно, как только мог, – чуть ли не печатными буквами! В общем, устроил мне Андрей Никитич предварительный экзамен!

– Спасибо, – сказал он. – Теперь положи в конверт и наклей марку. Я тебе адрес продиктую. И на обратном пути опустишь. Идёт?

– Как? Прямо в конверт? – растерянно пролепетал я.

И стал быстро соображать: что лучше – чтобы Андрей Никитич проверил сейчас письмо или чтобы не проверял?

А он, словно и не подозревая о моих муках и сомнениях, сказал:

– Конверты – в левом ящике стола. А клей – на окне, в бутылочке.

И тут мне смертельно, «до ужаса», как говорит Липучка, захотелось узнать, сколько я сделал ошибок. Помогли мне хоть немножко занятия с Сашей или нет?

– Вы, Андрей Никитич, лучше проверьте. Может, я напутал что-нибудь... Или пропустил. По рассеянности...

– У тебя уже есть рассеянность? – удивился Андрей Никитич. – Это же старческая болезнь. Ну ладно. Если просишь, прочту.

Он взял листок из моих дрожащих, перепачканных чернилами рук. Сперва всё шло хорошо. Андрей Никитич спокойно водил глазами по строчкам. Но вдруг он сказал:

– Дай-ка сюда перо.

«Так! Первая есть!» – подумал я и заложил один палец на правой руке. Ещё мне пришлось заложить три пальца. Значит, я всё-таки кое-чего добился: ведь раньше, когда я начинал считать свои ошибки, мне не хватало пальцев не только на руках, но даже на ногах.

– Выручил ты меня. Спасибо, – сказал Андрей Никитич. – Теперь сам ещё раз прочти. Не очень ли я родных разволновал?

«Всё понятно! Хочет, чтобы я на свои ошибки обратил внимание», – догадался я. И прямо впился глазами в злосчастные слова, исправленные Андреем Никитичем, А потом, дома, я раз десять переписал эти слова в тетрадку.

Ребят притащила в комнату «женщина с растрёпанными волосами». В это утро волосы её были аккуратнейшим образом скручены в косу, но прозвище так за ней и осталось. Значит, это верно говорят, что первое впечатление – самое сильное.

«Женщина с растрёпанными волосами» долго благодарила нас, называла хорошими ребятами, очень сознательными и добрыми – в общем, говорила такие вещи, которые мне почему-то всегда бывает стыдно слушать. Потом она взглянула на часы и извиняющимся голосом сказала:

– Андрею Никитичу, понимаете ли, спать нужно...

– Что я, дошкольник, что ли? Днём спать! – пытался заспорить Андрей Никитич.

Но женщина сердито трянула косой, и он сразу стал прощаться с нами:

– Приходите, ребята, почаще. И ты, Веник, приходи. В шахматы с тобой сыграем. В поезде-то не успели. И маме привет передай.

Веник был просто счастлив, что Андрей Никитич забыл все вагонные споры и так хорошо сказал о его маме. До самого берега наш солидный Веник бежал вприпрыжку.

На обратном пути Липучка опять пристала ко мне со стихами. А Веник стал ещё горячее защищать меня: у него было хорошее настроение. Он сказал, что я в Москве «обобщу все свои впечатления» и напишу „цикл белогорских стихов“. И ещё он сказал, что в творчестве Пушкина был период болдинской осени, а в моём будет период белогорского лета. Эта мысль мне очень понравилась.

– Верно! Я всё обобщу и пришлю из Москвы, – пообещал я Липучке.

Но, когда мы подплыли к Белогорску, настроение у Веника сразу испортилось: на берегу, возле нашего шалаша, стояла Ангелина Семёновна!

– Дрейфовать здесь, к берегу не подходить! – с капитанского мостика приказал Саша.

Веник безнадежно покачал головой:

– Вы не знаете мою маму. Она не уйдёт отсюда до следующего утра. Она не простит мне этого побега!

Но Веник ошибся. С берега вдруг поплыли самые ласковые и нежные звуки.

– Веничка, милый мой мальчик! – кричала Ангелина Семёновна. – Оглядишь по сторонам!

Веник огляделся.

– Тебе не страшно? Ты не боишься?

– Боюсь... тебя! – крикнул Веник.

– Меня? Свою маму? Глупый ребёнок! А воды... воды ты не боишься?

– Не боюсь!

– Честное пионерское?

– Честное пионерское!

– Значит, ты здоров? Совсем здоров?!

Нам ничто не грозило, и Саша приказал пришвартовываться.

Как только мы вылезли на берег, из шалаша с лаем выскочил, видно, хорошо отоспавшийся и потому как никогда бодрый шпиц Берген.

– Милая собачка! – сказала Ангелина Семёновна. Она с нежностью гладила Бергена, словно благодарила его за то, что он оказался не бешеным, а самым нормальным псом.

Потом она стала так же нежно и даже ещё нежнее гладить своего Веника. Она смотрела на него так, будто он долго-долго не был дома и вот только что, минуто назад, сошёл с поезда или с парохода.

– Как ты загорел за эти месяцы! – говорила Ангелина Семёновна, прямо-таки с любопытством разглядывая сына. – Как у тебя мордочка округлилась!

– Мама, при чём тут мордочка? – вдруг осмелев, сказал Веник. – Я же всё-таки не шпиц Берген!

– Не сердись на маму. Ты очень хорошо выглядишь. И это, естественно, радует её!

В самые трогательные минуты Ангелина Семёновна начинала говорить о себе в третьем лице. Я это ещё в поезде заметил.

– Да, ты очень поправился. И как-то возмужал, окреп! И Саша тоже... – Ангелина Семёновна впервые ласково взглянула на меня. – В Москве вас просто не узнают!

А мне вдруг стало грустно. Слова Ангелины Семёновны напоминали мне о том, что дни стали уже заметно короче, что лето подходит к концу и что скоро мне придётся прощаться с Сашей, с дедушкой, с Липучкой... И с этим плотом, качающимся на лёгких речных волнах, и с этим зелёным холмом... Я вдруг наклонился и поцеловал Бергена в мокрый шершавый нос.

Два письма

«Здравствуй, Шура!

Только что я вернулся из школы. Сдавал переэкзаменовку. В классе проверять работы не полагается, но я упросил Нину Петровну. И она проверила. Ясное дело, есть ошибки. Но мало, И Нина Петровна поставила мне четвёрку.

Мне бы не видать этой четвёрки, как ушей своих, если бы не ты, Шура.

Спасибо тебе! Приезжай в будущем году обязательно. Построим новый плот и уйдём в далёкое плавание. Понятно?

Саша».

«Дорогой Саша!

Мне стыдно писать это письмо. Но я всё должен рассказать тебе. Всю правду!

У меня ведь тоже была переэкзаменовка по русскому языку. Только я постеснялся сказать об этом. Ты вот не постеснялся, а я постеснялся...

И ещё я про стихи наврал. Мало ли на свете Сашек Петровых! Вот какой-то из них и пишет стихи, а вовсе не я. Да ведь я теперь и не Саша вовсе, а Шура.

Дома меня тоже так будут называть, потому что мама вдруг открыла, что я приехал из Белогорска „совсем другим человеком“. Не очень-то понимаю, что она этим хочет сказать...

Сегодня я сдавал переэкзаменовку. Получил всего тройку. А ты – четвёрку! Но ничего! Ведь часто так пишут: „Ученик превзошёл своего учителя!..“»

* * *

История эта случилась три года назад. Я сразу хотел записать её. Но не решился: боялся насажать много ошибок. А сейчас вот записал.

Всё началось с велосипеда

От автора

Когда-то, очень давно, я написал повесть «Саша и Шура». В письмах своих – а их было много – юные читатели выразили настойчивое желание вновь повстречаться с Сашей, Шурой, девочкой по прозвищу Липучка, их старшим другом Андреем Никитичем... Через несколько лет (это тоже было давно!) я выполнил просьбу своих юных друзей. Те, кто читал повесть, вновь встретились с ее героями, а те, кто не читал, познакомились с ними впервые. Получилась, таким образом, повесть с продолжением. Вот это продолжение – сейчас перед вами...

«Приезжай немедленно»

В телеграмме было всего два слова: «Приезжай немедленно». И никакой подписи. Но я сразу понял, что это от Саши и что на подпись у него просто не хватило денег. По цифрам сверху телеграммы я высчитал, что она была послана из Белогорска полтора часа назад.

Я никогда в жизни ещё не получал телеграмм. Только ко дню рождения от бабушки – и то они всегда приходили на мамино имя, словно она родилась в этот день, а не я... А тут, на узкой бумажной ленточке, приклеенной к бланку, было чёрным по белому напечатано: «Шуре Петрову». Это было приятно. Но и очень тревожно: ведь я знал, что телеграммы посылают только в самых крайних случаях, когда нужно сообщить что-нибудь очень срочное. И если в обыкновенном письме написано «Приезжай немедленно», то можно ещё подумать, ехать или нет, а уж если это написано в телеграмме – значит, надо не просто ехать, а прямо мчаться на всех парах, тут же, не теряя ни одной минуты!

Но мчаться на всех парах я никак не мог, хотя позавчера и наступили уже летние каникулы. Дело в том, что в ящике папиного письменного стола лежал один очень важный документ, который мешал мне немедленно выполнить Сашину просьбу, звучавшую как короткий военный приказ. Ещё недавно я вытаскивал этот документ по десять раз в день, разглядывал его со всех сторон, вслух перечитывал каждую строчку – и от радости не мог начитаться... Сейчас я тоже вынул сложенный вдвое небольшой лист плотной гляцевитой бумаги, но посмотрел на него грустно и даже с упреком. Снаружи на бумаге было голубое море, и дворец с колоннами, который тоже был голубым, и пальмы с кипарисами – тоже совсем голубые. А внутри было написано, что пятнадцатого июня я должен прибыть в детский санаторий на берег Чёрного моря и что передавать путёвку «другому лицу» я не имею права. И ещё стояла чья-то зелёная подпись, и ещё лиловая круглая печать – так что мне показалось, что не ехать по этой разноцветной путёвке я уже не могу, что, если я не поеду, меня просто силой притащат под голубые кипарисы, в голубой дворец на берегу голубого моря...

Что было делать?! Ведь я знал, что Саша не станет посылать телеграмму просто так: уж если он написал «Приезжай немедленно» – значит, случилось что-то ужасное, значит, кого-то надо спасать... Правда, кого и от чего я мог спасти – было не совсем ясно. Но ясно было одно: я не могу оставить друзей на произвол судьбы, я не могу не приехать к ним на помощь! Я должен пожертвовать всем на свете – и даже голубыми кипарисами. Но как пожертвовать?!

К путёвке была приколота медицинская справка о том, что мне «не противопоказана поездка на юг в летние месяцы». И вдруг меня осенило: надо, чтобы эта поездка была мне категорически противопоказана! Тогда всё будет в порядке, тогда я смогу выехать в Белогорск, как требует Саша, «немедленно». Но кто же может зачеркнуть маленькое «не» и оставить одно только слово – «противопоказана»? Конечно, врач. Но какой? И тут я вспомнил о дяде Симе.

«Дядя Сима» – это звучит немного странно. Лучше бы звучало: «тётя Сима». Но что поделаешь, если даже мама так звала старого дедушкиного друга, тоже врача, который лечил её в Белогорске, когда она была ещё совсем маленькой, а сейчас жил в Москве очень близко от нас – за бульваром. Дядя Сима знал дедушку уже лет тридцать. И хотя давно уехал из Белогорска, но они ни на один день не расставались. А я этому помогал! Сейчас расскажу, как именно...

Мой дедушка очень любит играть в шахматы. Правда, играет он не очень сильно. И даже я прошлым летом из пяти партий выиграл у него три с половиной (четвёртую партию я до конца выиграть не успел, потому что дедушку вызвали к больному). Но зато дедушка очень хорошо изучил теорию шахматной игры. Он не просто переставляет фигуры, а всегда знает, когда, в каком году и даже в каком городе подобный ход точно в такой же ситуации

сделал какой-нибудь великий шахматист. И меня только всегда очень удивляло, почему это великие шахматисты выигрывали, а дедушка, делая абсолютно те же самые ходы, проигрывал. Но не в этом дело...

Дело в том, что раньше, когда дядя Сима жил в Белогорске, они с дедушкой буквально каждый вечер сражались за шахматной доской. Они так к этому привыкли, что и потом, когда дядя Сима переехал в Москву, продолжали свои матчи. Только длились эти игры очень долго, по целым месяцам, потому что противники сообщали друг другу свои ходы по почте. Дядя Сима играл ещё хуже дедушки, но играть им друг с другом было интересно, потому что оба они очень хорошо знали теорию.

В квартире у дяди Симы было много соседей, и некоторые из них, наверное, тоже интересовались шахматной теорией, потому что дедушкины письма часто пропадали. Из-за этого шахматные соревнования Москва – Белогорск чуть было не кончились навсегда, но тут я пришёл на помощь! Дедушка стал присылать письма со своими ходами к нам домой, а я в тот же день срочно доставлял их дяде Симе. Иногда, когда дедушка делал уж очень странные ходы, я их чуть-чуть подправлял. Дедушка в письмах возмущался и говорил, что неблагоприятно «сражаться целой семьёй против одного дяди Симы». Но дело опять же не в этом, а в том, что я таскал письма через бульвар и дядя Сима, получая их, часто повторял, что он у меня «в неоплатном долгу».

Я вспомнил об этом в тот самый день, когда пришла Сашина телеграмма.

Я рыдаю

Дядю Симу все называли глубоко интеллигентным человеком. Он был глубоко интеллигентным весь, буквально с ног до головы: интеллигентной была его лысина, интеллигентными были роговые очки с толстыми стёклами, интеллигентным был его невысокий рост. (Мне вообще казалось, что высокие люди спортивного вида выглядят не так интеллигентно, как невысокие и щупленькие, вроде нашего Веника.)

Дядя Сима был до того интеллигентным, что даже называл меня на «вы». И вообще разговаривал со мной как с абсолютно взрослым человеком. («Вы меня, мой дорогой друг, очень обяжете, если и в следующий раз тоже сообщите очередной ход вашего дедушки. Наша партия обещает быть весьма любопытной...») Он так прямо и называл меня: «Мой дорогой друг!» Или сокращённо: «Друг мой!»

«А для дорогих друзей полагается, между прочим, делать всё, чего они только ни пожелают! – рассуждал я. – Особенно если они, как почтальоны, таскают вам письма с шахматными ходами. Но, к сожалению, иметь дело с неинтеллигентными людьми гораздо проще и легче, чем с такими интеллигентными, как дядя Сима: он ведь ни за что не захочет, просто не сможет хоть чуточку схитрить. И даже для своего „дорогого друга“, то есть для меня. Значит, нельзя рассказывать ему всю правду. Значит, нужно сперва немножко обхитрить его самого, чтоб уж он потом, сам того не замечая, немножко обхитрил моих родителей...»

С таким решением я и явился к другу своего дедушки. Но сейчас уж не дедушка, а я сам должен был делать разные умные ходы, чтобы обыграть или, как говорят у нас в шахматном кружке, «обставить» дядю Симу. И я начал...

– Дядя Сима, я должен открыть вам одну тайну!

Дядя Сима снял очки, словно для того, чтобы я мог получше разглядеть его глаза.

А глаза эти говорили: «Ваша тайна, мой дорогой друг, умрёт со мною. Ни под какой, даже самой жестокой пыткой я не выдам её!»

– Знаете ли, дядя Сима, я очень плохо переношу жару...

– Вам кажется, друг мой, что здесь жарко? Это потому, что вы волнуетесь. Потому что хотите рассказать мне нечто важное...

– Я уже всё рассказал!

– Как? Это и есть ваша тайна?

– Да.

– То, что вы плохо переносите жару?

– Вот именно!

– Но от кого же это надо скрывать? И почему?

– От моих родителей... От мамы и папы! Ведь я должен ехать в санаторий, на юг, а если они узнают, что я так плохо... так тяжело переношу жару, они меня туда не пустят! А я очень хочу поехать. Это моя заветная мечта с самых, как говорится, младенческих лет!

Дядя Сима вернул очки на нос. И задумчиво потёр пальцами свою блестящую, словно отполированную лысину:

– Но ведь со здоровьем, друг мой, шутки плохи. У вас, видимо, шалют нервы.

– Шалют, дядя Сима!

– И в чём это конкретно выражается?

Я очень хорошо знал, как шалют ребята у нас в классе или во дворе, и мог бы описать это во всех подробностях, но как именно шалют нервы – этого я не знал. И тогда добрый дядя Сима поспешил мне на помощь:

– Не чувствуете ли вы, друг мой, быстрой утомляемости? Повышенной сонливости?

– Да, я очень быстро утомляюсь. И всё время испытываю повышенную сонливость. Вот, например, на уроках я даже иногда покалываю себя пёрышком, чтобы не уснуть...

– А не бывает ли у вас по ночам тяжёлых сновидений? Не кричите ли вы во сне?

– Кричу! Не так уж часто, но кричу... И даже очень громко! Только мама с папой не слышат, потому что они спят в другой комнате, а бабушка – потому что она у нас глуховата.

– Ну, а как дела с аппетитом?

Дела с аппетитом обстояли у меня прекрасно, но я тихо и грустно ответил:

– Пища вызывает у меня, дядя Сима, физическое отвращение. Но я ем! Через силу!.. И иногда даже прошу добавки, чтобы не огорчать родителей. И чтобы не обижать бабушку: ведь она целый день возится на кухне.

– Та-ак... Это мы поправим. А не потеют ли у вас руки?

– Потеют. Ещё как потеют!..

– Покажите, пожалуйста... Нет, сейчас у вас абсолютно сухие ладони.

– Это потому, что я недавно вытер их носовым платком. А вообще-то я всегда хожу такой потный, что даже противно делается.

– Ничего, это мы исправим. – (Дядя Сима не только меня называл на «вы», но и о себе самом иногда говорил «мы».) – Ну, а не замечали ли вы за собой также повышенной слезливости? Этаким беспричинной плаксивости?

– Стыдно сказать, дядя Сима, но... я очень часто плачу. Даже в детском саду, помню, меня дразнили плаксой-ваксой.

– Ну-у, это было давно...

– Но продолжается и до сих пор! Я стараюсь скрыть эти свои... беспричинные слёзы от окружающих. И поэтому очень часто смеюсь... Чтобы не заплакать! Понимаете?

– Понимаю. Сейчас мы кое-что проверим. Правда, у меня дома нет всех необходимых инструментов. Но кое-что...

Дядя Сима достал серебрястый молоточек с чёрной резиновой головкой и предложил мне сесть на стул, положив ногу на ногу. Когда же он слегка стукнул меня этим молоточком по коленке, я так дёрнул ногой, что бедный дядя Сима чуть не отлетел в сторону.

– Какая повышенная возбудимость! И так называемый «тик» у вас, – по-докторски задумчиво, как бы про себя, тихо проговорил он. – И часто вы так дергаетесь?

– К сожалению, очень часто.

– И дома? У родителей на глазах?

– Чтобы не волновать их, я ухожу на кухню или прячусь в туалете – и там дёргаюсь. Когда надёргаюсь, возвращаюсь в комнату.

Он приказал мне с закрытыми глазами вытягивать руки прямо перед собой, широко растопыривая при этом пальцы. Но я так стремительно раскинул руки в стороны, что снова чуть не сшиб с ног интеллигентного дядю Симу.

– Простите, пожалуйста, – тихо извинился я.

– Вас нужно не прощать – вас нужно лечить! И мы займёмся этим делом... Что же касается юга в разгар летней жары, то это категорически исключено! Не знаю только, как же вам удалось пройти медкомиссию.

– А я, знаете ли... целый месяц перед этим тренировался: ногу к ноге прижимал, даже верёвкой привязывал, а ребята меня, значит, по коленке чем попало колотили. И руки перед собой каждый день, как по команде, вытягивал. А сейчас вот немного времени прошло – и разучился.

– Та-ак... Понятно. Но я-то обманывать ваших родителей не собираюсь. Завтра же вечером зайду к ним: вы не должны ехать на юг ни в коем случае.

– Я вас прошу... Ведь это – моя заветная мечта с самых младенческих лет...

Я опустил голову. А сам в этот момент решил, что до завтрашнего вечера я должен дома как можно быстрее утомляться, дёргаться, не уходя в туалет, как можно сильнее раздражаться, плакать безо всякой причины, потеть и обязательно орать во сне... С этими мыслями я и вернулся домой.

Когда бабушка усадила меня обедать, я через силу проглотил несколько ложек борща – и со вздохом отодвинул тарелку. Это было настолько неожиданно, что бабушка даже пощупала мой лоб, который был абсолютно холодным. Тогда она успокоилась и решительно потребовала:

– Ешь! Не буду же я тебя, как маленького, уговаривать: «За маму, за папу, за бабушку!..»

– Нет, не уговаривайте меня! Не упрашивайте! И не принуждайте!.. – громко воскликнул я. И разрыдался...

Я плакал очень шумно, но без слёз, и это как-то особенно испугало бабушку. Она принесла мне стакан холодной воды, и я несколько раз с глухим звоном укусил зубами стекло, как это делала красивая артистка в одном заграничном фильме, который дикторша по телевидению не рекомендовала мне смотреть.

А вечером я вдруг совершенно неожиданно уснул у телевизора, когда шла весёлая передача, которую мне как раз смотреть рекомендовали.

– Что-то с ним происходит, – услышал я взволнованный шёпот бабушки. – Днём не захотел обедать... Разрыдался безо всякой причины. Сейчас вдруг заснул... У телевизора!

Тут я встрепенулся и, громко зевая во весь рот, сказал:

– Какая-то у меня стала повышенная сонливость. Я пойду лягу...

– Совсем? – удивилась мама, которая всегда с величайшим трудом загоняла меня в постель.

– Да, совсем...

Я хотел лечь в этот день пораньше: я знал, что ночью мне нужно будет проснуться и немного покричать во сне.

Но ночью я покричать не сумел, потому что проспал, и завопил уже под самое утро. Папа, который в это время бесшумно занимался своей утренней зарядкой, прямо в трусах и майке влетел ко мне в комнату:

– Тише ты! Маму с бабушкой разбудишь!

– Я же не виноват: это помимо моей воли. Это же во сне...

– Брось валять дурака! – махнул рукой папа, который пока ещё относился к моему здоровью не так внимательно, как добрый и глубоко интеллигентный дядя Сима. Да, «пока ещё» – потому что он не знал об угрожающем состоянии моей нервной системы. Это стало известно ему только вечером, когда к нам явился старый дедушкин друг.

Мама, пошептавшись с ним, чересчур весёлым голосом предложила мне пойти погулять. Папа, который всегда был против секретов и вообще считал, что я уже взрослый парень и со мной можно обо всём говорить напрямую, постарался удержать меня:

– Ничего! Пусть посидит вместе с нами. Послушает!

Мама несколько раз очень выразительно взглянула на него. А я, хотя в подобных случаях мне всегда очень не хотелось уходить во двор, сделал вид, что ничего не понимаю, и послушался маминого совета.

Через час меня вызвали обратно... Все четверо – мама, папа, бабушка и дядя Сима – сидели за столом. У мамы на щеках были красные пятна, и мне её стало очень жалко. А папа сердито уткнулся в газету, словно предстоящий разговор его совершенно не интересовал. Мама начала издали подготавливать меня к удару:

– Неужели ты не соскучился по своим прошлогодним летним друзьям: по Саше, по Липучке? По дедушке?..

– Соскучился...

– Вот видишь! И вообще, этот чудесный городок, где прошло моё детство, моя юность... Разве есть на земле место очаровательнее?

Папа вдруг отбросил газету в сторону:

– На земле есть места очаровательнее! Гораздо очаровательнее, чем городок, где прошло твоё детство. Открыли вечер воспоминаний! Да что он, девчонка, что ли? Сделали из него неженку, неврастеника. Надо с ним прямо разговаривать, по-мужски. И прямо ему заявить, что на юг ехать нельзя. По временному состоянию здоровья. Ещё успеет! Я в его годы тоже не катался по южным курортам. А в Белогорске будет прекрасно: река, лес, свежий воздух. Вот и всё.

– Постоянное наблюдение опытейшего врача... родного дедушки, Петра Алексеевича, – тихо вставил интеллигентный дядя Сима.

– Не нужно ему никакого «постоянного наблюдения»! – загремел папа. – Пусть хронические больные находятся под «постоянным наблюдением». А он абсолютно здоровый парень. Ну, переутомился немного за зиму. Ну, нельзя ему на юге поджариваться – это я понимаю. Вот пусть в Белогорске на свежем воздухе и окрепнет!

– Как – в Белогорске?! – тихо и испуганно, словно только что придя в себя и ещё не веря своим ушам, проговорил я. – В каком Белогорске? Ведь я же поеду на юг... к морю...

– Не поедешь! – отрезал папа.

– Но ведь я так мечтал!..

В носу у меня вдруг всерьёз защекотало. В эту минуту мне и в самом деле стало нестерпимо жалко расставаться с разноцветной путёвкой, на которой были голубые кипарисы, и голубой дворец с колоннами, и чья-то зелёная подпись, и лиловая печать... Когда-то мне ещё достанут такую?! Но отступить уже было поздно.

– Не волнуйся, не волнуйся, миленький... Тебе нельзя нервничать! – Мама подскочила ко мне, обняла и стала поглаживать по голове.

– Вот-вот! От такого воспитания не только во сне – наяву заорёшь на всю квартиру! – возмутился папа.

– И как ты всегда непедagogично, в лоб, без всякой подготовки! – ответила мама, обнимая меня и словно защищая своими руками от папиной «непедagogичности».

– Он – мужчина! И должен понять... – ответил прямолинейный папа, вызывая укоризненные покачивания головы даже у глубоко интеллигентного дяди Симы.

Одним словом, через два дня я выехал в Белогорск.

Всё началось с велосипеда

Когда поезд подходит к станции, пассажиры всегда прилипают к окнам, а глаза у всех так и бегают, так и шарят по перрону: всем хочется, чтобы их встретили. А если тебя никто не встречает, то это очень грустно, особенно если приезжаешь в чужой город.

Когда я прошлым летом первый раз приехал в Белогорск, меня никто не ждал на вокзале. А Саша, которому было поручено это дело, потом уж, когда я сам добрался до дедушкиного дома, сказал: «Что ты, иностранная делегация, что ли?» В этом году я тоже не был иностранной делегацией, но ещё на ходу поезда разглядел на перроне сразу троих встречающих. Да, целых трёх, словно я был не просто «делегацией», а каким-нибудь, как пишут в газетах, «высоким гостем».

Я хотел закричать, чтобы меня заметили... Но заметить меня не могли, потому что окно плотно загородили две полные дамы, наверное, «дикарки», которые приехали отдыхать в Белогорск «диким способом». Я с трудом разглядывал уже знакомый перрон сквозь щёлочку между цветастыми сарафанами «дикарок». И закричать я тоже не мог, потому что голос мой от волнения куда-то провалился, исчез, – и я только беззвучно разевал рот, как рыба, выброшенная из реки на берег. А там, на перроне, бежали за моим вагоном, пристально заглядывая во все окна, Саша, уже загорелый, хотя лето ещё только начиналось, и восторженная, вечно размахивающая руками Олимпиада, или просто Липа, по прозвищу Липучка, и... сам подполковник Андрей Никитич.

Вернее сказать, бежали Саша и Липучка, а Андрей Никитич шагал большими шагами, поспевая за моим вагоном.

Да, да, тот самый Андрей Никитич, с которым я в прошлом году познакомился в поезде, по пути в Белогорск, и которого мы с Сашей потом спасали от сердечного приступа. Только Андрей Никитич был уже не в кителе, не в галифе и не в сапогах, а в обыкновенных брюках и белой спортивной майке.

Поскольку в окно меня всё равно не было видно, я раньше всех протиснулся к выходу и спрыгнул на перрон.

– Ой, вот он! Вот он! – первой закричала Липучка, да так пронзительно, что все пассажиры в окнах и все встречающие на миг повернули голову в мою сторону.

А потом я хотел на радостях поцеловать Сашу, но он даже на радостях целоваться со мною не стал, а просто крепко пожал мне руку, потом похлопал меня по плечу, точно он был начальником, а я – его подчинённым, и коротко похвалил:

– Молодец, что приехал!

– Да, молодец! – подтвердил Андрей Никитич, тоже сильно пожимая мне руку.

А Липучка приподнялась на цыпочки и, на глазах у всех, полезла целоваться. Она поцеловала меня в обе щёки, в лоб и даже в нос... Лицо у неё было горячее, воспалённое.

– Что это у тебя? – спросил я, только сейчас заметив у неё на лице какие-то жаркие красные пятна и мелкие пузырьки. – На солнце, что ли, перегрелась?

Я заметил, что Саша и Андрей Никитич таинственно ухмыльнулись, а Липучка растерянно потрогала свои пузырьки.

– Сами повыскакивали... Противно, да?

– Ничего. Тебе даже идёт: оригинальные такие... – успокоил я Липучку и, повернувшись к Саше, задал вопрос, который прямо распирал меня с той минуты, когда я получил телеграмму с коротким приказом «Немедленно приезжай»: – У вас что-нибудь случилось? Какая-нибудь беда?!

– А ты что, «скорая помощь», что ли, чтобы тебя на вырочку вызывать? – с усмешкой ответил Саша. (Я сразу вспомнил характер своего прошлогоднего друга.)

– А зачем же тогда... телеграмма? Я на юг не поехал...

– Ах, ты жертву принёс? – всё тем же тоном продолжал Саша. – Ну, прости, пожалуйста, что у меня шапки нет или какой-нибудь там тубетеечки, а то бы голову перед тобой обнажил и в пояс тебе поклонился до самого пупа! Да знаешь ли ты, для какого дела тебя вызвали? Тут не только югом – севером и то пожертвовать можно! Это видел?..

Саша дотронулся до своей руки чуть повыше локтя, а там, выше локтя, и у него, и у Липучки, и у Андрея Никитича были красные повязки с тремя белыми буквами – «ЧОК». Я ещё из вагона приметил эти повязки, но не успел спросить о них.

– Вы, наверно, дружинники, да? А что это за белые буквы?

– Мы – члены Общественного комитета! – гордо произнёс Саша.

– Сокращенно, стало быть, «чокнутые». Если от слова ЧОК... – насмешливо пояснила Липучка.

– А члены Общественного комитета должны быть, мне кажется, людьми вежливыми, деликатными, – вмешался в разговор Андрей Никитич, который до сих пор стоял чуть в стороне и молча наблюдал за нашей беседой. – Зачем же кидаться на гостей? Надо быть гостеприимными!

– Сашка всегда такой! – сердито глядя на своего двоюродного брата, сказала Липучка. – А ты, Шура, не обращай внимания! – Она вновь приподнялась на цыпочки и снова поцеловала меня в щёку.

– Вот Липучка его уже пятый раз поцеловала... за нас всех, – проворчал Саша.

– А ты считал? – Липучка зло повернулась к нему.

– Считал: ты его пять раз, а он тебя – ни разу. Где же твоя, как говорится, женская гордость?

– Ох, и вредный ты!

– Ладно! Идём скорее, а то заждались там «наши общие колёса».

– Что? Что?! Какие колёса? – не понял я.

– Сейчас узнаешь!

Мы вышли на небольшую площадку перед станцией. И вновь я увидел глубокую-глубокую, всю в солнечных окнах, берёзовую рощу. И воздух был всё тот же: свежий, чуточку прохладный, словно только что пролился на землю весёлый летний дождь. И вновь по этому особенному воздуху угадывалась река, которой не было видно, потому что она пряталась за берёзовой рощей.

На площадке стоял новенький мопед, покрашенный такой аппетитной сиреневой краской, что его хотелось погладить рукой или даже лизнуть языком. А к мопеду была приделана старая мотоциклетная коляска, на которой тоже сиреневыми буквами, только уже не такими аппетитными, было написано: «Наши общие колёса!»

– Сперва Андрея Никитича отвезу, а потом за вами приеду, – сказал Саша, деловито взбираясь на треугольное кожаное сиденье.

– Нет уж, вы гостя везите «до дому, до хаты», а я – пешим ходом. – Андрей Никитич похлопал себя по боковому кармашку спортивной майки. – Пусть оно у меня подышит немного...

– Болит? – участливо спросил я.

– Болит не болит, а... как бы это объяснить тебе? Ну, ты вот чувствуешь, что у тебя здесь, с левой стороны, есть сердце?

– Нет! – решительно ответил я, потому что действительно никогда этого не чувствовал.

– А я вот всё время его ощущаю... И не в переносном, а в самом что ни на есть буквальном смысле слова. И такое оно у меня тяжёлое, что даже дышать трудно. Так что я уж прогуляюсь: авось полегчает немного.

Андрей Никитич зашагал к городу, а мы начали рассказываться. Саша предложил, чтобы я, как гость, сел в коляску, а Липучка забралась ко мне на колени и держала в руках мой чемоданчик. Но Липучка отказалась.

– Ой, что ты, Саша!.. – как-то смущённо воскликнула она. – Он же меня не удержит: я тяжёлая!

– Стесняется, – шепнул мне Саша. И в самое ухо добавил: – Она влюблена в тебя!

– Что-о?!

Я с интересом, будто на какую-то совершенно незнакомую девчонку, взглянул на Липучку, которая смело забралась на неудобное металлическое сиденье, приделанное к задней раме.

– Ноги в спицах запутаются, – сказал Саша.

– Вот ещё! Я привычная...

– Ну, смотри!

Я опустил в глубину коляски, мопед застрекотал, – и мы поехали.

То, что Липучка, оказывается, была в меня влюблена, как-то очень странно на меня подействовало. Я вдруг заметил, что у меня худые руки, без малейших признаков мускулов («Лапша!» – как говорил папа), и накинул на плечи курточку, хотя было очень тепло. Помимо воли я стал следить за своим собственным голосом, – и Саша даже удивлённо спросил: «У тебя насморк, что ли?» Я неожиданно вспомнил о том, что фотограф, снимавший меня как-то в фотоателье вместе с мамой и папой, сказал: «Тебя лучше брать в профиль!» И я старался теперь поворачиваться к Липучке профилем, который, наверное, был у меня красивее, чем всё лицо целиком.

Я знал, что вот сейчас мы обогнём берёзовую рощу – и сразу увидим Белогорск... И мы его в самом деле увидели, – и мне снова показалось, что городок взбежал на высокий зелёный холм, но некоторые домики не добежали до вершины и остановились на полпути, на склоне, чтобы немножко передохнуть. И ещё я увидел большой зелёный щит на краю дороги, которого не было в прошлом году. Он был разрисован зелёной краской, и на этом фоне, словно на густой, сочной траве, большими красными буквами было написано: «Ты въезжаешь в „город, где скоро захочется жить!“» Саша торжественно ткнул пальцем в этот плакат:

– Вот для чего мы тебя вызвали! Понятно? Мы за такой город с утра до вечера боремся. И ты будешь бороться. Будешь?

– Буду! – ответил я.

Липучка так бодро заёрзала на своём неудобном металлическом сиденье, что ноги её замелькали где-то возле самых спиц.

– Осторожно! – предупредил я Липучку, стараясь, чтобы голос мой при этом звучал не взволнованно и заботливо, а строго и покровительственно.

Я вообще решил, что буду теперь вести себя с Липучкой не так просто, как в прошлом году. И что при первом же удобном случае обязательно объясню ей (как это сделал Евгений Онегин в опере, которую я смотрел и слушал по телевизору), что люблю её всего-навсего «любовью брата», то есть так же, как Саша, который и в действительности был её двоюродным братом.

– Мы тебя тоже примем в комитет... Если заслужишь! – сказал или, вернее, крикнул Саша, потому что мы все не разговаривали, а орали, чтобы заглушить стрекотание мопеда.

– А вы чем заслужили?

– Поступками! – крикнул Саша.

– Какими?

– Скоро узнаешь!

– Ты расскажи ему, как у нас всё началось, – вмешалась Липучка.

«Заботится! Хочет, чтобы я обо всём узнал по порядку, с самого начала!.. – От этих мыслей мне почему-то стало очень приятно. – А хорошо, когда тебя любят!» – подумал я.

– Всё началось с велосипеда! Вот с этого самого! – крикнул Саша.

– То есть с мопеда?

– Нет, он ещё тогда был велосипедом. Это уж мы потом его сами в мопед переделали и коляску приспособили... Его Андрей Никитич своему племяннику подарил. Как совсем сюда переехал, так и подарил: врачи-то ему самому кататься запретили. Понятно?

– Понятно. А разве у него тут есть племянник?

– Есть! Кешка-Головастик... Только ты его в прошлом году не видел: ты к бабушке приезжал, а он к бабушке уезжал...

– Головастик?

– Прозвище такое. У него голова большая, лобастая, и всё время из неё всякие идеи наружу выскакивают. Кешка за один час столько всего напридумать может, что тебе и за год не придумать!

– А тебе?

– И мне тоже...

Мне почему-то было неприятно, что Саша в присутствии Липучки нахваливает какого-то незнакомого мне Головастика.

– Противное прозвище! Головастик! – прокричал я, заглушая стрекотание мопеда. – Лягушечье какое-то...

– Ой, Шура, ты не прав! – снова вмешалась Липучка. – Это же от слова «голова» происходит, а голова – самое главное в человеке!

– Главное – это сердце! – неожиданно для самого себя возразил я. – Душа должна быть у человека!..

Эти мои слова произвели на Липучку большое впечатление, – она замолчала и даже перестала ёрзать на своём неудобном сиденье. А Саша продолжал:

– Всем на этом новеньком велосипеде покататься хотелось! Мы даже расписание завели: кто за кем катается. И Кешка-Головастик тогда придумал... «Давайте, – говорит, – детский общественный транспорт создадим! Общий гараж устроим, свезём туда все велосипеды: и двухколёсные, и трёхколёсные, – и самокаты тоже, и педальные автомобили... И все будем пользоваться поровну!» Так мы и сделали! У нас старый сарай был, в котором раньше дрова хранились, – мы его подремонтировали и в гараж превратили. Понятно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.